Василий Пучеглазов

**«БУДЬ Я ПРОКЛЯТ!»**

Самопознание в трёх эпилогах

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

НЕКТО – в трёх судьбах самопознания.

ОСТАЛЬНЫЕ – их возникновение и сценическое существование зависит всецело от режиссёрского решения спектакля.

\*

КОЛЛЕГАМ ПО ЦЕХУ

Поскольку в моей профессиональной работе в искусстве я был и «художником слова», и драматургом, и режиссёром-постановщиком (когда параллельно, когда попеременно), литература и драматургия, в конце концов, образовали своеобразный синтез в трёх представленных эпилогах, оказавшихся тремя уровнями одного процесса «переступания через табу» в стремлении личности к внутреннему освобождению – в чувствах, в творчестве и в сфере идей.

Для меня это ещё одна драматургическая форма к трём уже найденным ранее в том «театре судьбы», который мне, на мой взгляд, удалось создать в разные периоды в некоторых моих пьесах, и я хочу подчеркнуть особо, что эта вещь была изначально задумана именно такой, если не экспериментальной, то «пограничной» в типе её театральности, так что предназначена она, прежде всего, именно для сцены.

Как режиссёр, я при постановке, в том числе, и своих произведений обычно опускаю ремарки драматурга, и мне, как всякому постановщику, нужно исключительно действие, причём вовсе не обязательно в виде традиционной пьесы, поэтому я решил в данном случае полностью отказаться от каких бы то ни было ремарок и разбивок на сцены или эпизоды и предложить режиссёру, как истинному автору спектакля, максимум возможностей и минимум ограничений для его фантазии. Разумеется, как писатель, я при этом стремился к завершённости не только действия, но и текста.

Октябрь 2019 г.

ЭПИЛОГ ПЕРВЫЙ

РАСКРЕПОЩЕНИЕ

(Записки с кухонного стола)

...Не прав был Дарвин, не прав, – теперь-то я убедился. Может, конечно, кто и от обезьянок произошёл, им видней, но я бы людей скорей по тотемам делил, как в древности, как в первобытные времена, до всех этих дарвинов, фрейдов и прочих, что называется, провозвестников-уравнителей, которые для того своих общих теорий о человеке и навыдумывали, чтобы его только стадностью-то и объяснять, чтобы ему одну стадность его и предписывать – как, якобы, и «природный исток», и «общественный базис», и исцеление, извините, «освобождение», – иначе он, мол, и закомплексован, и «табу» он своими закрепощён, а вот как кошки-собачки – это, мол, то что надо, это у нас, мол, в биологическом подсознании, это и «полноценная сексуальность», и «снятие уз», и «возврат к себе»... Впрочем, возможно, не знаю, я не учёный, я обо всех судить не берусь, другим, быть может, и лучше – стадами или же стаями, другие, не отрицаю, бывают и из шакальей породы, и из собачье-кошачьей, но мне-то что до других, я не они, я – лев, я самками не делюсь, не в состоянии я делиться, как выяснилось, – природа моя не та, не стадная-стайная, бунтует она у меня, оказывается, природа…

Но – по порядку, пусть вкратце, но по порядку, – должен же напоследок и я в себе кое-что объяснить, не всё же одним учёным со всякими их гипотезами-утопиями...

Ну, где я жил-был и кем числился, вряд ли кому особенно интересно, профессия в данном случае ничего не значит, – марионетка она марионетка и есть: Бог тебя, или дьявол, знай, за инстинкты подёргивает, а ты и скачешь, раскрепощаешься, так сказать, и в меру и без неё, – чем я, понятно, и занимался в юные годы, с азартом и с полной отдачей, благо, ни темпераментом, ни мужскими достоинствами предки меня не обидела, а время мне выпало в этом плане самое подходящее, – девицы на почве секса точно взбесились, причем, как водится, массово: часть – по естественной, допускаю, предрасположенности, часть – за компанию, чтобы от моды не отставать. В моду же в моё время всё больше общинность входила, всё больше тусовочки коллективные да «все со всеми», включая и мальчиков соответствующих, и девочек-лесбияночек, и поле деятельности мне было поистине необъятное, как раз для тогдашней моей ненасытности, а уж отсутствием аппетита я никогда не страдал, так что через студенчество меня пронесло, можно сказать, «на крыльях любви», в обрывочном кувыркающемся сумбуре сплошной эротики, рискованных беспорядочных похождений и беспечного легкомысленного беспутства, – опомнился я немного уже потом, после, когда вдруг вынырнул из всего этого, из прежней своей среды, сменил и город и обстановку и, хочешь не хочешь, вынужден был маленько притормозить и оглядеться.

Тут я её и встретил, будущую мою жену, тут я с налёту в неё и втрескался, втюрился с первого же подхода, влюбился как чокнутый: сразу – и по уши; хотя, пожалуй, если сравнить, знавал я раньше малюток и поэффектней, и посмазливей, и, разумеется, посговорчивей. Но вот случилось – сбылось – стряслось (синонимов этому предостаточно): встретил так ненароком хищник овечку, полюбил без памяти, ну и, само собой, обаял, охмурил, заморочил ангельскому созданию мозги (опыт-то у меня к тому времени был энциклопедический), а вскоре и уломал, как положено (уламывать-то я тоже был мастер), соблазнил, искуситель коварный, невинную крошку (чего она, собственно, от меня, очевидно, и дожидалась, как все они, «нецелованные-нетронутые»). В общем, сначала я своего добился, вступил с ней, как говорится, в интимную связь и принялся её растлевать, эту рыжую недотрогу, во всю бескрайнюю ширь своей «испорченности», то бишь, передавать ей накопленные познания и обучать её, робкую малограмотную, правилам поведения «в койке»; поскольку же это моё краеугольное и основополагающее «в любви – ничего запретного» её не очень отпугивало и ученица она была довольно способная, получилось, что воспитательный мой процесс несколько затянулся и чересчур уж меня увлёк, а у холостяков, и с «любимыми женщинами», подобные затяжные романы известно чем могут кончиться, да и обыкновенно кончаются, и я на сей раз приятного исключения составить не пожелал.

Затем, стало быть, и она, в свой черёд, своего добилась, добрачные отношения мы оформили, свадебку для приятелей отгуляли, и наше успешное продвижение по «стезе порока» мы, таким образом, узаконили, – и, Боже ты мой, чего мы с ней только не вытворяли вдвоём в тех комнатках и квартирках, где нам сперва доводилось жить и где мы с моей обожаемой, не знающей удержу, миниатюрной вакханкой безумствовали молодожёнами под магнитофонные тамтамы... Что-то я в ней, как видно, расшевелил своим воспитанием, что-то созвучное, и совпадали мы просто на удивление, феноменально, я бы сказал, – как будто и вправду делаясь иногда чем-то единым и нераздельным, этаким, представьте себе, экстатически-слитным бездумным счастьем ликующе сдвоенной плоти, и как бы переполняя, удваивая себя друг другом до некоего, почти нестерпимого, вершинного блаженства достигнутой, наконец, завершённости; а так как от раннего и скоропалительного «продолжения рода» она пока предпочитала воздерживаться, мы оба могли упиваться своим разделённым супружеским счастьем и вволю и вполне беспрепятственно.

Однако, как вы, наверное, понимаете, вершинные совпадения бесконечно не длятся, такое любовное счастье, как правило, слишком эпизодично и постоянство ему, увы, противопоказано, особенно если всегда – и до самых последних пределов, до апогеев-апофеозов, – как мы; вот и у нас, я заметил, едва мы в теперешнем нашем «семейном гнезде» осели-обосновались, тоже симптомчики появились, не пресыщенье ещё, но первые, ой как знакомые мне по прошлым моим забавам, редкие признаки, ещё нечаянные, ещё отдалённые, но предвестники – не то усталости, не то охлаждения, – физиология-то чрезмерное долгое напряжение ограничивает, её не обманешь... Но, кстати, к вашему сведенью, я тогда именно обмануть решил, от большого ума, – уж больно она со мною во вкус вошла, уж больно мне жалко было – и наших безумств, и нашей взаимности; а в сексе, как я не единожды проверял, для поддержания тонуса главное – это, конечно, умелая стимуляция, то есть, иначе, хочешь, чтоб «вожделела», раскочегаривай всяческий интерес к самому процессу, буди творческую фантазию, подкидывай вовремя «раздражителей» поновее да попикантней, покуда гормоны в крови бурлят и мозг чуть не плавится от изобретательности. Не утешаться же мы сошлись в нашем единобрачии, не повтореньями механически удовлетворяться – во имя какого-то там совместного проживания и будущих короедов; мы с ней в любви наслаждения прежде всего искали, и максимального, запредельного наслаждения, не только того, что испытывали, потому как испытанное словно тускнело тотчас в своей обычности, вроде бы не разочаровывая, но и, бывало, не будоража уже как раньше, когда головокружение – при одной мимолетной мысли, когда вдруг представишь – и хоть бросай всё да вызывай друг друга с работы для срочного неотложного воспроизведения всей картины в действительности и наяву, когда весь день иногда – как в чаду, как в предчувствии-предвкушении, как в паузе идиотской между объятиями...

Ладно, эмоции побоку, прошлого не вернёшь, а в подробности углубляться нет смысла, – я же здесь не роман выписываю, на кухне в час ночи, в простынке, как привидение, не беллетристикой развлекаюсь, я, в сущности, показания излагаю, я её только пересказать хочу, эту мою историю, чтобы понять, чтобы я сам её логику уловил, чтобы вы видели – я не из-за ерунды, я вовсе не спятил, и тут у нас, к сожаленью, не сумасшествие, тут другое...

Итак, продолжаю. Значит, как я тогда для себя отметил, мы с ней друг другом, в конце концов, слегка пообъелись, даже с журнальчиками иллюстрированными на специфическую тематику и с порнушками по кабельному тэвэ, а сценариев-то подобных игрищ за кадром было хоть отбавляй (не опробованных, я имею в виду, не на двоих), и настроение в нашем ополоумевшем брачном дуэте любым таким пробам крайне благоприятствовало: и от того б мы не отказались, и этак бы мы не прочь, – воображение распалённое, чай, поддразнивает-подстёгивает, Эрос-то нас безликий за ниточки дёргает-искушает, ну и по молодости влечение – чистый хмель: работает, в основном, подкорка, тормозов никаких, и всё нам легко, всё, вроде, возможно и, в принципе, допустимо (а почему бы и нет, если по обоюдному согласию, почему «нельзя»?), и что там дальше когда-то, что там потом, – да какая разница! – нам с ней, с моей способной воспитанницей, в нашем тогдашнем любовном запое, «развитие», вишь ты, требовалось для столь счастливого помешательства, экзотика нам туземная грезилась в наших экстазах да экзальтациях, – терять-то, казалось, мы ничего не теряем, если на пару и добровольно, если для нашего же взаимного удовольствия...

Нет, разумеется, мы не с бухты-барахты, мы постепенно, мы с ней сперва обговаривали – и не всерьёз («вот, мол, и мы бы с тобой могли поучаствовать...» – «фу ты, бесстыдник!») и поначалу наедине; но и в компаниях (а тем более, в молодёжных и разнополых, как наши) разговоры в застольях порой вертелись вокруг того же, вокруг «обмена партнёрами», «шведских семей» или «нормальных в цивилизованном мире побочных траханий», – аура-то у всех нас была одна, всем нам, небось, «полнокровного секса» хотелось, помимо законно имеющегося, и вопрос перед всеми стоял один: как именно? Как – чтобы и «полнокровно», и в рамках негласных «приличий», и без ущерба установившейся репутации? Варианты же мы свои обсуждали в ситуации настоящего эротического бума (дорвались-таки до «запретных тем» и «плодов» – сымай фиговые листки!) и «приличиями» уже допускалось вполне достаточно, а кое-какие новации и вообще в моду входили – в качестве обретённой на новом, как говорится, этапе «свободы самовыражения», и нам с ней тоже, как всем, втемяшилось, что, когда тянет, когда обоих, то грех, понимаешь ли, в чём-то зачем-то воздерживаться и в чём-то себе отказывать, лишь бы и ей и мне это нравилось в равной степени.

А тут, как нарочно, среди заезже-залётного множества шарлатанов эстрадных проповедник ещё один объявился, наподобие доморощенного сексолога-миссионера широкого профиля, но внешне – вылитый гуру-махатма из Индии: и локоны вьющиеся до плеч, и борода седеющая, колечками, и глаза волокитские, гипнотически тёмные, с фальшивой факирской пристальностью, и голос низкий, актёрски бархатный, с проникновенными обертонами, – типичный, словом, шоу-мошенник ярмарочного пошиба, причём, по знанию русского языка и деланному акценту, скорее всего из наших же штатовских эмигрантов. Ну, на сеансы его индивидуальные тратиться мы не стали (пускай дураков морочит своими нудистскими штучками), однако на выступление пошли, клюнули всё-таки на рекламу, да и знакомые расхваливали, вещать же он собирался как будто бы по волнующим нас проблемам, от коих в афише этот седобородый хиппарь запросто обещал избавить любого, следуя, дескать, древним тайным рецептам достижения полного счастья в гармонии телесного и духовного освобождения.

Проповедовал наш ряженый лжеиндус, как и ожидалось, сплошные банальности, – я в юности, домогаясь, примерно теми же доводами аргументировал: не надо, мол, собственную природность-животность стеснять, в сексуальной-то сфере, а надо всё-всё, чего душе пожелается, себе позволять, чтобы себя счастливым почувствовать; потянуло тебя к кому-то – для чего же сопротивляться, а к нескольким ежели потянуло – и с этим в себе не стоит бороться, и это тоже нормально, главное, в результате, получить удовольствие и доставить его любимому или любимой. А уж отсюда, из базового исходного постулата, и вся забота о правильном отношении к такому вот «следованию инстинктам»: любовь в её настоящем виде должна быть очищена от собственнического эгоизма и её суть – дарование счастья другому, что, по идее, ответным счастьем же и воздастся; тело – всего лишь «одежда души» и ни к чему придавать каким бы то ни было его отправлениям излишне большое значение, и, скажем, на плотском, телесном уровне – это и не измены, а просто-напросто необходимые дополнения, в зависимости от чьей-то врождённой любвеобильности; посему, если любишь, то и задача твоя отнюдь не препятствовать, а, напротив, способствовать, помогать, как я некогда убеждал развесивших уши дурёх, наконец-то «раскрепоститься» и «обрести себя», то есть, идти, естественно, по пути наименьшего принуждения своенравного «либидо» и – резюме – наивозможного послабления природным склонностям – и своим, и своих возлюбленных (называемым «аморальными» и «порочными» разве что заскорузлыми лицемерами и ханжами).

Метод его, короче, сводился к не стесненному никакими моралями поиску наслаждений, что, по словам словоблудного апологета новой общинности (или же «промискуитета», как щеголял я разнообразными «генитальными» терминами в пору практического осуществления излагаемых им заповедей), только и обеспечивало искомое жизнерадостное и светлое восприятие жизни; и лично мне ничего оригинального он, по существу, не поведал, разглагольствовал, как и все «вольные стрелки», сугубо в своих интересах «ловца заблудших и падших» и со своей холостой колоколенки, подводил, как заведено, философскую базу под общеизвестные трюизмы, которыми все мы, охотники-ходоки, пользовались по мере надобности и которыми все мы не раз оправдывали что угодно; и если вдуматься, нелепые предрассудки морали разоблачал он, так же, как все растлители, дабы вместе с высмеянными-дезавуированными «комплексами» устранить и помехи прежних невольных «табу» и стыдливостей, обозначая это, пока что словесное, устранение и это, пока что воображаемое, «отпускание души», конечно же, лекционно обтекаемо и с восточно-пышной искусной цветистостью. Годились его рекомендации, в первую очередь, для одиноких искателей и искательниц (да, может быть, для действительно чересчур закомплексованных или пресытившихся друг другом), но и моей пылкой крошке в её любовном пьяном дурмане эта пропагандируемая им свобода явно пришлась по сердцу – хотя, разумеется, как идея, как «превосходная жизненная позиция на отдалённое будущее», шутила она нарочито безнравственно после лекции, ибо чем-чем, а уж комплексами мы с ней, вроде бы, не страдали.

Да, не страдали, как нам казалось, и в наших чувствах друг к другу настолько были уверены, что вскоре, как видно, под благотворным влиянием лекционных сладкоголосых проповедей, постановили, по обоюдному подразумеваемому желанию и согласию, прокрутить с кем-нибудь и нечто совместное, этакий заповедный шуточный групповой проект под девизом «Нетленные ценности храма Каджурахо – на службу каждой семье!», – гипсовые скульптурки, изображавшие многофигурные изощрённые позы тамошних сладострастных оргий, мы как-то случайно приобрели и изучали, подтрунивая друг над другом, как инструкцию к применению.

И дошутились однажды, на свою голову: в компании подвернулась малознакомая семейная парочка со сходными беспредметными фантазиями-запросами, втянулись мы с ними в непринуждённое обсуждение занимающих нас аспектов, прониклись взаимной симпатией, да и договорились по-дружески как-нибудь в уик-энд скооперироваться у них на даче, якобы в сауне, – порезвиться интимно два на два в рамках благопристойности, без глупой ревности и без лишней огласки.

Накануне моя вакханка, правда, засомневалась чуть-чуть, смутилась, похоже, публичности предстоящего, но у меня на сей счёт были свои соображения, у меня-то опыт кое-какой имелся, я её уболтал, – меня на нашем проекте уже, признаться, малость зациклило.

«Заодно и сравним по ходу, удостоверимся в нашей неповторимости и единственности, – помнится, соблазнял я её, – обновим, так сказать, наши страсти. Или ты опасаешься конкуренции? Так, это ты абсолютно зря, они же, считай, что куклы, они у нас – вспомогательный состав, мы с ними – ради себя самих...» Ну, а в подтексте, помимо прочего, я её, видимо, испытать хотел, – она же, кроме меня, ни с кем ещё не соприкасалась до того эпизода, не в пример мне, рецидивисту, а я бы любовь бы не по незнанию предпочёл, но чтобы она меня – именно как избранника, как не сравнимого с остальными, – тщеславие-то моё меня и подталкивало туда, на дачку, вкупе с нашей вконец зашкалившей чувственностью и безмерной её любознательностью.

Впрочем, уговорить её мне труда не составило, – я ей, как главный наставник, скорее последний шаг сделать помог, – и назавтра, с той же моей непосредственной помощью и содействием, она, наконец-то, сподобилась там, в предбанничке, вместе со мной, причастилась, что называется, в тёплой компании, как ей мечталось, – благо, партнёры нам с ней попались нещепетильные и, судя по некоторым ухваткам-замашкам, вполне бывалые и видавшие виды. Что мы на четверых сообща учудили спьяну, рассказывать долго (да и всё это теперь по «видику» можно разглядывать, сколько душе угодно, – хоть так, хоть сяк, хоть во все естественные отверстия), скажу только, что кувыркались мы по причине экстравагантности жизненного момента крайне активно и временами до совершенного самозабвения – что моя распоясавшаяся от выпивки и волнения, имитирующая экстаз, употевшая кисуля, что вторая её нагая напарница, аппетитненькая, я доложу, блондиночка, типа Мэрилин Монро: задастенькая, грудастенькая, но в самый раз, голливудский стандарт. Однако я отчего-то, что бы я сам ни делал, чем бы ни удивлял, всё постоянно исподтишка за нею следил, за пьяной моей малышкой, – как ей с другим-то былые наши изыски, – и видел, что ей сейчас хорошо, что ей в запарке как бы и всё равно, кто её ублажает, ежели я с ней рядом, и вот такая, со стороны, словно бы огрубевшая и почти что чужая, она меня возбуждала куда сильнее любых умелых и бойких секс-бомб блондинок, она, бесстыдница, одним своим видом до того меня заводила, что я тогда с ней на пару и самого себя перещеголял, не то что выдохшегося её партнёра, так что и он, и блондиночка еле выползшая остались нашим дебютом весьма и весьма довольны, жару мы им обоим задали до общего изнурения и изнеможения и в следующий выходной повторили всё там же по той же программе.

Впечатлениями о наших банных радениях дома мы не обменивались, наоборот, делали вид, что ничего экстраординарного с нами не происходит, обыкновенные любовные шалости, – на словах, в озвучивании и назывании, они прозаичны и пошлы, как текстики в популярных брошюрах по технике секса и позам коитуса, – но с каждой нашей бесиловкой вчетвером что-то нас с нею наедине точно бы несколько разделяло, чем-то как будто они между нами вклинивались, те впечатления, какими-то, вроде бы и не неприятными, но навязчивыми воспоминаниями, в которых теперь присутствовал кто-то чужой, и это присутствие придавало всем нашим прежним уединённым утехам странное ощущение чего-то чужого и в том, что было, бесспорно, сугубо моим и её: к примеру, и её тело, и вся она постепенно, казалось, переставали принадлежать мне одному, и исподволь, неосознанно, она невольно освобождалась от прежней сосредоточенности на мне любимом, то есть, понятно, и от своей безоглядной начальной любви, что, еле заметно, но отдаляло её куда-то обратно в себя, в мир, где она получала свободу обходиться и без меня, и без каких бы то ни было иных зависимостей от подобных мне претендентов на собственническое полновластие в любви к ней.

Обнаружив, что, вероятно, с финской банькой нас занесло и что эффект «ценности Каджурахо» вызвали при её европейском менталитете прямо противоположный предполагаемому, я, разумеется, как рачительный дальновидный властелин, поспешил эти наши общинные скрещивания на лоне природы пресечь и ночью, после по-прежнему страстной, и всё же одновременно, по-моему, чуть отчуждённой близости, завёл с ней, уже засыпающей, доверительную беседу о проведённом нами удачном эксперименте.

«Слушай, давно я хотел спросить, – начал я деликатно. – Тебе это очень нравится – с компаньонами?» «Вообще-то не очень, – лицемерно вздохнула она. – А ты ревнуешь?» «Я что, похож на Отелло? – хмыкнул я. – Нет, но, наверное, хватит, хорошего понемножку... Ты как?» «Как ты решишь, мне без разницы, – сказала она равнодушно. – Мне лишь бы с тобой...» «Ну, так мы больше не будем, если «не очень», – предложил я. «Давай не будем», – сонно согласилась она. «Но я тебе, в принципе, ничего не запрещаю: если к кому потянет, ты вправе сама собою распоряжаться, – великодушно дозволил я, гордый своей победой и властью над ней. – Потянет, имею в виду, сильней, чем ко мне, размениваться не стоит... Главное – чтобы ты была счастлива…» «Я постараюсь, – проронила она, истомно потягиваясь всем своим грациозно-гибким прелестным гаремным телом. – Спасибо за разрешение...»

И тем не менее, возникшая между нами, едва ощутимая поначалу, раздельность с возвратом в семью совсем не исчезла, и в нашей, словно бы сглаживающей, преодолевающей её, близости появилось отныне некоторое ожесточение, доходившее иногда до чуть ли не кровожадного взаимного сладострастия, как будто мы оба мстили подспудно друг другу за что-то непоправимое и не прощаемое: она, как я думаю, за то, утраченное с моего опрометчивого благословения, «табу», за то святотатственное насилие над собой при переходе к не свойственной ей до этого коллективности, представлявшейся ей на трезвую голову, похоже, достаточно унизительной процедурой публичного демонстрирования чего-то, ранее «сокровенного» (тогда как, не придавай она столько смысла суеверьям её разнесённого вдребезги целомудрия, она бы, конечно, восприняла наше семейное грехопадение как многие из её не закомплексованных сверстниц – одним из ничуть не предосудительных типов любви, увлекательной, между прочим, именно перспективами-горизонтами разнообразия), а я, по моим наблюдениям, мстил ей за то её похотливое усердие с тем, другим, мной же, не отрицаю, и спровоцированное, за ту знакомую мне бездумно-страдальческую гримаску в оргазме совокупления – с зажмуренными от удовольствия, подёргивающимися веками и с закусываемой в такт нижней губкой. Точь-в-точь как со мной она заходилась, ничем себя не стесняя (как я её предварительно и наставлял), и это-то искажённое её личико в те минуты вспоминалось мне почему-то и днём и ночью, возбуждая ретивый мой пыл снова и снова, но уже никогда не как раньше, не нежно, не обожающе, а всегда – отчасти завоевательски, как с какой-нибудь изуверкой в юности, наваландавшись иной раз до нахрапистого остервенения, потом таки взяв её с потрохами и уж в отместку измочаливая садистку до потери пульса.

Естественно, будь она лишь обычной подружкой по «перепихиванью», наподобие юношеских моих однодневок, либо заведомо многоопытной и самостоятельной «эмансипе», прошедшей «и Крым и рым» и «познавшей» кое-кого ещё до меня, я бы, наверное, по таким пустякам не переживал, но ведь она-то, можно сказать, была моей Галатеей, я же её фактически создал в любви (потому я её и «на люди» вывел – похвастаться, как творец, как все авторы-честолюбцы), и то, что она, моё собственное произведение, могла, оказывается, прекрасно существовать без меня, это меня, создателя, сперва раздражало, а затем стало по временам и бесить своей неотвязностью, поскольку её вспотевшая раскрасневшаяся мордашка с той её безразлично-блаженной гримаской, как незабвенно когда-то запечатлелась в нашей эпизодической «групповухе», так и преследовала меня неотступно, изводила злорадно своей глумливой детальностью, почему я ей, моей суженой, передыху и не давал – доказывал, что она – моя и только моя, ничья больше.

Если бы мы тогда разошлись, расстались бы по-хорошему и стали бы пусть не совсем чужими, но объективно отдельными, уже не зависящими столь маньякально друг от друга, бывшими супругами, я бы, мне кажется, успокоился, я перенёс бы вдали от неё и это её не высказываемое неумолимое отстранение (при том что в наших страстях мы оба и вовсе теперь с ума посходили) и даже, быть может, обидное знание об иных её обладателях, однако всё время вдвоём и с нашим треснувшим пополам счастьем, с углубляющимся всё явней разломом нашего распадающегося любовного единства, – тут мы чем дальше, тем чаще и нестерпимей чувствовали вместо свободы свою, всё более внешнюю, всё более только телесную, связанность с чем-то всё более отчуждаемым и, как водится, вымещали болезненность нашего отторжения в повседневной нервозности семейного быта да в исступлении не приносящих заметного облегчения, бурных и требовательных соитий, несмотря на почти свирепую пылкость и яростную неутолимо-алчную плотоядность, оставлявших нас по-прежнему порознь, в необъяснимой скрытной враждебности к предмету неистощимого вожделения и сластолюбивых домогательств. Точно страшась очнуться после нашего общего вакхического затмения там, на пахнущем луговой мятой, выскобленном дощатом настиле жарко натопленной дачной сауны, наше былое влечение мучительно пожирало само себя, стремительно превращая храмово разрушающееся моногамное счастье в плохо утихомириваемую безудержной эротоманией, раздваиваемую замыканием в себе, подозрительную угрюмую неприязнь, в тайную ненависть обоюдной обманутости и кажущегося недодавания (хотя, пожалуй, беспутствовали мы с ней на последнем пределе физических сил), и я зачастую ловил себя вдруг на мысли, что я готов ударить её, излупцевать ни с того ни с сего мою пленительную, обворожительную хрупкую козочку в кровь, чего она, ну никак не заслуживала, по крайней мере в любви, потакая всем моим прихотям с неизменным встречным неистовством и с каким-то ожесточённым, вызывающе-дерзким бесстыдством.

Короче, я понимал, надо было снимать напряжение и разряжать атмосферу, ибо иначе бы продолжалась наша самоубийственная гонка недолго, до скорого неизбежного взрыва, – и я, в целях психологической профилактики, напросился на службе в командировку, в надежде, как я по наивности полагал, на исцеляющее воздействие разлуки, на паузу отдыха от вымотавшего все нервы партнёра по чересчур здоровому сексу, но и с разлукой я, видимо, просчитался: отдохнуть-то мы отдохнули, но сразу же по приезде, по возвращении из служебного моего вояжа, я уловил по некоторым невольным, непроизвольным нюансам её поведения, что без меня она даром времени не теряла, в одиночестве не скучала и, как я тотчас прозорливо сообразил, предприняла следующий шажок к полной своей самостийности (или к «раскрепощению» подлинного своего «я», по зазывному выражению того индусо-подобного идеолога «любви всех ко всем»). То есть, по новой её уверенности в себе и по новой манере её хладнокровно-пристального сладострастия безошибочно можно было судить, что в разлуке она меня кем-то уже дополнила – и, видно, не безуспешно: кипучая её ярость сменилась теперь в постели подробной, гурмански высасывающей каждый миг, технологичностью, и мне во всей этой эрогенной изобретательности, как в молодости моими «учительницами» постарше, отводилась в наших, уж извините, сношениях роль энергичного инструмента для достижения максимального «кайфа», своего собственного – в первую очередь.

«Ты повзрослела, по-моему, – заметил я ей, оценив по достоинству совершившиеся метаморфозы и временно исчерпав все ресурсы для доказательства своего всестороннего превосходства над неведомыми соперниками. – Ты что, завела кого-то?» «С чего ты взял?» – с ленцой удивилась она, не очень, впрочем, настаивая на девственной непорочности и невинности. «А если честно? – мягко справился я, чтобы она, не дай Бог, не приняла моё любопытство за тривиальную ревность. – С кем-то же ты успела, по-видимому, меня же не проведёшь, прелюбодеяние я, знаешь ли, нутром чувствую...» «А, ничего особенного, – не стала она понапрасну отнекиваться. – И ты любого пока обставишь, можешь не волноваться...» «Ну, мяса-то на земле с избытком, тут стоит только начать... – сдержал я себя. – Это ты через ту блондинку, поди? Она тебя подрядила?» «Не имеет значения, – молвила урезонивающе моя распутница. – Тебя я люблю по-прежнему. И вообще, любви этот пунктик скорей на пользу, должна я тебе сказать, – опять прижимаясь ко мне, игриво добавила она. – Я не права?» «Лишь бы ты сердцем не изменяла, – вынужден был согласиться я с ней. – Но, киска, имей в виду, путь разврата необратим. Это ж, прости, живая натура, не член искусственный из секс-шопа, – пошутил я, чтобы не осерчать ненароком по-настоящему на её шлюшески ластящийся, подлизывающийся лепет. – Халатного отношения я не потерплю, супружеские обязанности – дело святое...» «Ни-ни, ты, милый, вне конкуренции, – поспешила заверить она, в преддверии, так сказать, прилива сызнова пробуждённой нашей приватной беседой чувственности. – Теперь-то уж – без сомнения, правда-правда...»

И мы опять сошлись с ней в ближнем бою и опять любили друг друга до обессиленного беспамятства, как прежде, как и десятки ночей потом, в период нового неожиданного расцвета нашей сполна разделённой страстной любви; но счастье – величина, увы-увы, переменная и близость, как ни прискорбно, не может, подобно всему живому, длиться ни вечно, ни постоянно, близость волнообразна: то притяжение, то отталкивание, то океанский девятый вал, то спад, скука, отмель с медузами и ошмётками пены, – и вся-то сложность, пожалуй, в том, чтобы уметь эти спады пережидать, чтобы не застревать в одной этой фазе, а мы как раз не умели, мы оба, к несчастью, всегда по принципу «всё и сразу», и я и она, – вот нам поэтому и отлилось – за нашу нетерпеливость и жадность...

Словом, любовь любовью, однако в моё отсутствие она, к сожалению, постепенно снова повадилась шалаться на сторону (по проторённым, что называется, тропкам), благоразумно эти свои половые «оттяжки» не афишируя и меня в них благопристойно не посвящая, и страсти её со мной становились мало-помалу откровенно эгоистичными и, я бы сказал, потребительскими, словно, стремясь «поймать кайф», она сравнивала свои впечатления от меня с другими – грубыми, как мне виделось, до скабрёзности и шокирующе многолюдными; я же, отчаявшись в повторявшихся попусту доказательствах своей полноценности вернуть её в лоно единобрачия и всё острей ощущая себя как бы одним из многих, я бесновался безмолвно в ночи, стискивая, как утопающий, её, бьющееся в оргазмных конвульсиях, отдающееся мне без остатка, манящее тело и с ужасом сознавая, что моя взмокшая от любовной испарины, моя распалённая, моя обожаемая до слёз, до зубовного скрежета, неукротимая нимфоманка ускользает из всех моих судорожных объятий куда-то в огромный и беспощадный мир, где, уже без меня, вся она броуновски блуждала бездумным и ослеплённо-безликим, истекающим похотью куском женской плоти, переходя из рук в руки и не принадлежа мне ни в чём и ничем, ни клеточкой своего обольстительного телесного наряда, ни гнавшей её в толпу жаждой всеядно-безжалостного инстинкта.

Тогда-то, буквально захлёбываясь порой накатывающим внезапно бешенством, задыхаясь ночами (и рядом с ней, и в гостиницах) от приступов изгрызавшей меня беспомощной ревности, я тоже кинулся было изменять ей напропалую с подворачивающимися повсюду девицами, «разведёнками», горничными, попутчицами и сослуживицами, но куролесил я абсолютно зря: сколько ни пополнял я свою коллекцию, сколько я ни перебирал их, когда с азартом, когда почти машинально, влекло меня к ней одной, влекло – как заядлого наркомана к наркотику, и именно к ней, окончательно пристрастившейся ублажать себя с кем ни попадя и нимало не обращавшей внимания ни на меня, мужа, ни на мнение о себе, без сомнения, многочисленных случайных попутчиков, совмещаемых ею, как я не мог не догадываться, с непринуждённостью понаторевшей в подобном разгульном «дионисийстве» подзаборной кошёлки. Ей я, конечно же, своей ревности не показывал, даже во время наших с ней полуночных переговоров начистоту, ревность в её глазах была бы моей непростительной слабостью, моим признанием и бессилия, и допущенной изначально ошибки, потому что никто иной как я сам старательно и собственноручно расковырял в ней когда-то её последующую безбрежную «аморальность», переросшую нынче в нечто и вовсе злокачественное, в привычку, не больно задумываясь о ближнем, запросто удовлетворять любые свои желания, и это именно я столкнул её в скопище стадности, в нынешнюю её телесную заменяемость, в беспредел её, уже не считающейся со мной, независимости и её, убивавшей нашу былую невиданную любовь, бесчеловечно жестокой свободы; и, не имея сил насовсем оторвать её от себя, развестись с ней или уйти от неё, я не способен был, в то же время, разделить мою исступлённо любимую женщину, как учил и я прежний, и совративший её «идеями» теоретик-гуру, на оболочку её испоганенного для меня тела и на её душу, якобы голубино сросшуюся с моею в неизменной прежней любви, лишь радующейся альтруистически и отечески сугубо плотским усладам любимого существа. На «секс» и «любовь» она во мне не делилась, «одежда тела» была, на деле, ею самой, и предпринятое по юной дури физиологическое растление в равной степени растлило и её душу, сотворив из неё, из моей трепетной и застенчивой возлюбленной, чужую мне, бессердечную и циничную потаскушку, огрубив её до неузнаваемости, но я, ненавидя, всё же любил её, любил – и терпел, терпел – и молчал, молчал, стиснув зубы, прощая ей всё ради крох, ради каких-то жалких остатков единственной нашей любви, молчал и терпел до вчерашнего вечера, или скорей до сегодняшней ночи, до моего раннего приезда и её позднего прихода домой, в наше уютное семейное гнёздышко, помнящее так много наших самозабвенных любовных сумасбродств и беззаветных, бессвязно-страстных наших чириканий...

Из ванной она побыстрее отправилась прямиком в постель, и когда я ложился, она, отвернувшись, притворилась, будто бы спит, чтобы, по-видимому, избежать и ненужных бестактных вопросов, и моих приставаний; к тому же, вблизи от неё порядком разило коньяком и шампанским и рыжие её «кучери» пропахли дымом чьих-то ароматических дорогих сигарет, из чего, даже по самой элементарной логике, вытекало со всей недвусмысленностью, что возвратилась она с очередного успешного рандеву (или, вообразил я, с очередного свального лежбища) и после насыщенной, вероятно, программы в супружеских скромных услугах ничуть сейчас не нуждалась, в отличие от меня, соскучившегося по моей Мессалине-блуднице до детской лихорадочной дрожи в похолодевших от приступа вожделения пальцах.

«Не придуряйся, радость моя, – шепнул я ей на ушко, придвигаясь вплотную к её спине. – Ты же не спишь...» «Ой, ради Бога, – недовольно пробормотала она, ягодицами ощутив сквозь тонкий ситец ночной рубашки просительно-требовательную прижатость знакомого инструмента. – Я не хочу, я устала...» «А я хочу, – внезапно взъярился я, грубо сграбастав её за грудь и закинув ей на бедро свою ногу, чтобы не дать ей ни отстраниться, ни улизнуть из бесцеремонно-хозяйского объятия. – И мне, ты учти, не объедки твои нужны...» «Ну, ты же сам говорил – лишь бы мне хорошо, – напрасно дёрнувшись в моих лапах, ядовито куснула она. – Вот мне сегодня и хорошо, не порти...» «И не лапай меня, пожалуйста, своими ледышками», – неприязненно присовокупила она, и в её наглом и раздражённом отказе не было и следа прежней ответной неги или шутливо-подобострастной нежности. «Буду, – охрипнув от праведного негодования, зловещим шепотом изрёк я. – И лапать буду, и остальное... Ты же моя, моя – запомни, моя...» «Я – своя, – сухо отрезала она, вполоборота взглянув в полумраке ночи в моё, белевшее над её плечом, лицо. – И ты же у нас без комплексов, ты не единоличник...»

«Умолкни, сука!» – сразу сорвавшись, взревел я в никак уж не свойственном мне, тем более с ней, хамском тоне и, не в силах сдержать себя, рванул пятернёй ворот её ночной рубахи, да так, что паутинная ткань промеж её аккуратных грудок треснула спереди до пупа и она вскрикнула от ожога врезавшегося ей в шею рубца.

«Умолкни!» – прорычал я, вторым рывком распанахивая подол и сдирая с её обнажённости обрывки ситца.

Затем, не очень соображая, что же я делаю, я резко, как куклу, перевернул её на спину, почти что насильно распялил ей, опрокинутой, её ноги (эти её изумительные стрекозьи стройные ножки, столько раз обцелованные мной снизу доверху) и, насев на неё по-медвежьи взбесившимся шатуном, придавив её своей тушей к любовному ложу, всадил, наконец, свой кол в её общественную плевательницу (в эти влажные лепестки её пиршественной, столько раз опьянявшей когда-то, чаши, в изнывающе отверзающиеся глубины её детородного зева, столько раз осчастливленно говорившего на своём дословесном, дочеловеческом языке о её прежней любви ко мне), но только короткий её тоннель к взаимному некогда наслаждению был ныне бесчувственно сух, и она, застонав от жгучей, раздирающей боли такого насильственного спариванья, выгнулась в протестующем бесполезном взбрыкивании и попыталась было руками столкнуть меня, тотчас же оказавшись накрепко припечатанной к простыне в позе этакого любовного распятия.

«Задушишь», – сквозь зубы зло просипела она. «Всенепременно, – подтвердил я, палачески продолжая экзекуцию, хотя она причиняла немалую боль и мне. – Не перетрудишься…»

Поняв, что в данный момент ей лучше мне не перечить и меня не дразнить, она перестала сопротивляться и, уступив грубой силе, нехотя начала соучаствовать в ожесточённых моих атаках, отдаваясь мне, впрочем, достаточно механично, с демонстративной послушной скукой, а когда я выпустил её руки, она, якобы от порыва страсти, расцарапала мне кошачьи впившимися ногтями всю спину, усугубив для меня на немного нашу с ней обоюдную пытку мучительной одинокой близости – близости принуждаемых к опостылевшему соединению, безлюбо зависимых друг от друга тел. Потом, разумеется, накопившиеся запасы моих желёз и моих претензий к ней несколько исчерпались, и я, отвалившись, сполз с её мокрого от моего пота, неподвижного тела, не испытывая, как это ни странно, ни облегчения, ни обычного после столь энергичной активности умиротворённого опустошения.

«Ну, всё? – прервав наше тягостное неловкое молчание, брезгливо спросила она в тишине. – Насладился?»

И, отчуждённо уставившись в потолок, вытянулась во весь свой маленький рост на спине, закрыв глаза и, точно нарочно, не прикрывая ничем свою наготу, – то ли так, напоказ, обсыхая в летней ночной духоте, то ли предоставляя мне, если опять приспичит, свои вожделенные «срамные места»: милости просим, «законный супруг», удовлетворяй себе, псих ненормальный, низменные потребности, – с нас, так и быть, не убудет...

Минут через десять она, похоже, и вправду уснула, посапывая чуть слышно коньячным духом и смуглым скульптурным контуром темнея на белизне измятой постели, а я лежал рядом, лежал и, уже не думая, не грезя, не сознавая, как-то ледяно свирепел всё сильней и сильней от этой убийственно-искренней интонации её заключительной реплики, от этой пренебрежительно-снисходительной и невыносимо презрительной правды её случайной непроизвольной обмолвки. Она меня не любила, не любила теперь никак – ни сердцем, ни головой, ни прочими органами её организма; она всего-навсего безразлично сносила наше сегодняшнее, удобное для неё сожительство, не мешавшее ей предаваться вволю любимому хобби; она, ненароком преодолев с моей помощью свои самосохранительные запреты, с упоением погрузилась в бесчисленные соблазны большого, наружного для семейной любви, мира, и мир постепенно вытянул её из любви всю-всю, рассеяв её, растравляемый вседозволенностью, независимо взбеленившийся инстинкт во множестве более впечатляющих, более «западающих в душу» сцен и осуществлённых сценариев только воображаемых ранее «непотребств», мне же, когда-то единственному, неподражаемому, как и всегда бывает с обманутыми мужьями, теперь оставалась одна бессильная зависть к себе вчерашнему да не утолимая обладанием вечная жажда, потому что отдать её я не мог, потому что она не должна была становиться чужой, потому что она и была и будет моя, моя...

Всё повторяя, как заведённый, «моя, моя», я истязал себя возле неё своими нелепыми «потому что», которые, как и все мои доводы, как и все теперешние запреты, ничегошеньки для неё не значили и ничего ни в чём не меняли, а стылый, свирепый, неописуемо тяжкий гнев волна за волной океански вздымался во мне, словно раскачиваемый вулканными угрожающими толчками подкатывающей к самому горлу рыдающей безысходности, и эти кроваво-тёмные ледяные всплески неистовства, захлёстывая мой тонущий мозг, опять и опять возносили меня на край нестерпимо бездонной пропасти, зовущей, влекущей меня головокружительным тошнотворным ужасом отпущенного на волю отчаянья. И вдруг, на гребне взвинчивающегося сверляще гнева, на непереносимом, кровавом пределе арктически хищной свирепости, на пике прорвавшегося безумия, я разом переступил этот удерживавший меня над пропастью роковой край, шагнул в разверзающийся, объявший душу провал, и тотчас в мозгу моём стало пусто и ясно, совсем ясно и совсем пусто.

«Моя...» – мысленно отчеканил я и, взяв осторожно подушку, на которой лежал, внимательно посмотрел на размытое сумраком, таинственное лицо моей по-прежнему спящей любимой, запоминая эти её черты и это загадочное, чарующе-безмятежное выражение навсегда, теперь уже навсегда.

А насмотревшись, я быстро и бережно накрыл её голову, её курчавую блудную красоту, своей подушкой и вновь навалился, голый, на её голое тонкое тело, содрогнувшееся в судороге настигшего её во сне удушья.

Она всё дёргалась подо мной в конвульсиях смертной агонии, суча ногами и царапая пальцами простыню, а я, как будто опять беря её, беря, как тогда, влюблённо и безраздельно, я, припав к ней всем телом, чувствовал её затихающие, как после пика слияния, почти сладострастные, импульсивные корчи, переходящие в единичные слабые подёргивания и в последнюю дрожь её умирающего великолепного тела, я душил её, налегая на эту её прощальную наготу, и плакал, плакал в подушку, плакал от умиления, от рвущей мне сердце нежности к ней, задыхавшейся там, под моим зарывшимся в наволочку, залитым хлынувшими слезами, лицом...

Потом она снова вытянулась, как давеча, перед сном, тело её как бы сразу увяло и бездыханно застыло, и вскоре тепло из него начало медленно-медленно уходить, вытекать в пустоту комнаты, и касавшаяся меня обнажённая кожа стала всё холодеть и холодеть, пока я не ощутил, что её больше нет, что она – этот вот коченеющий подо мной безжизненный труп, лягушечьи липко леденящий собой мою ещё тёплую грудь и мои отныне осиротевшие чресла.

Она и сейчас всё так же лежит на нашей брачной постели, лежит – в точности как я её оставил, с подушкой на искаженном удушьем лице, а я, всё так же плача и плача, дописываю вот тут, на кухне, в сочащихся сквозь задёрнутые гардины утренних сумерках нашу заканчивающуюся сегодня историю. И когда я поставлю последнюю точку, я возьму этот кухонный острый тесак, вернусь к ней в комнату, на наше, теперь уже смертное, ложе и, открыв наконец всю её, с её уже недоступным, уже ничьим, грешным телом и с посмертной страдальчески близкой гримаской её осунувшегося, окостеневшего лица, воткну, как римлянин, это лезвие сам себе между рёбер, в своё разрывающееся от боли и жалости сердце, – надо только открыть напоследок входную дверь и позвонить, чтоб за нами приехали, чтоб увезли нас обоих отсюда, убрали уж нашу плоть, наши дохлые маскарадные шкурки, в которых мы щеголяли самонадеянно до сих пор...

Нож уже у меня в руке, – пора мне к ней, к мёртвой, пора обратно в постельку...

И будь я проклят за всё, будь я проклят с моей любовью!

Но, может быть, после... Может быть, душами...

Девочка ты моя...

\*

ЭПИЛОГ ВТОРОЙ

САМОУТВЕРЖДЕНИЕ

(Заметки на ресторанных салфетках)

…Как он там, бишь, советовал нашей актёрской братии, классик наш и основоположник? «Любите искусство в себе, а не себя в искусстве»? Как же, как же, любили – беззаветно, можно сказать, и безоглядно, всеми, как говорится, фибрами-струнами, что мы вот тут сейчас и расхлёбываем, на этой пустой веранде над обрывом, в осенних промозглых сумерках, уже сгустившихся моросяще внизу, за мокрым парапетом, возле которого притулился под покачивающейся лампой мой холостяцкий столик с уже вторым початым пластиковым стаканом и одноразовой винегретной закуской в пластиковой же тарелке на липкой пластмассовой столешнице. Может, оно и теплей внутри, в этой стеклянной кафешке, может, там и уютней, но мне одному сейчас побыть надо, совсем одному, чтобы и без компашек трепливых, и без собутыльников всяких случайных, и вообще без обычных моих «публичных одиночеств», не к ночи будет помянуто. Подумать мне надобно кое о чём наедине, так сказать, с самим собой, или, скорее, с тем, что от меня прежнего осталось после страстной и пламенной, которую нам учитель наш седовласый предписывал в качестве панацеи. «Не себя», да? А театр-то для чего, дядя? А мы-то зачем на сцену выходим, как наркоманы, каждый Божий день? А на чём же всё это держится-крутится, весь этот балаган лицедейский? Именно, именно, на нём самом, на примитивном: «браво» да «бис» да «хлоп-хлоп» в качестве компенсации… Что, нет? Ну, тогда сделай ты мне разгениальный спектакль и пусть он провалится на премьере, тут мы и поглядим, кто прав и какие такие оправдания ты провалу найдёшь, а главное, кому интересно их слушать будет. Да лучше пусть чушь собачья, лучше дешёвка и однодневка, но чтоб «на ура», под овации, чтоб зритель рыдал и в проходы от смеха падал, чтоб уж успех так успех! Вот она, истина-то, вот «правда-матка», «вот где причина», как говаривал по сходному поводу небезызвестный принц Датский в знаменитом монологе. Пошлость, согласен, но ведь верно, к великому сожалению, мне ли не знать, как верно…

Нуте-с, изъясняясь языком персонажей Чехова, опрокинем стакашку в паузе – за здоровье присутствующих. Хотя, признаемся, и здоровья у нас к сорока с гаком – раз два и обчёлся, цистерны-то я свои, сами понимаете, давно вылакал в пору «бури и натиска», а за сим и разброда-смятения да уныния и упадка. Я ведь, по правде говоря, «деградирующая личность» в данный исторический момент, и не в водке, в сущности, дело. То есть, не только в водке, если быть точным, ибо что есть то есть – пью, и запоями иногда пью, чего скрывать, потому-то и обитаюсь опять в общаге актёрской, а не в былом семейном уюте, когда-то, кстати, своими руками и построенном. Ну, да Бог с ним, с уютом, и с пьянкой тоже, не об этом я тут писать затеялся, на свежем воздухе, под дождём, на салфетках бумажных, как такому пропойце и положено, особенно в мемуарном жанре. Я, собственно, в жизни своей разобраться хочу, логику я её хочу проследить, «сквозное действие», как мы на своём театральном жаргоне стержень роли приучены называть, потому как было же что-то не так изначально, было что-то неправильно в моей жизни, иначе бы не пришёл я к этой веранде на берегу реки, поблескивающей там в темноте под мостом этакой Летой, которая, говорят, нам грешным забвенье в аду даёт, не пришёл бы к этим стаканчикам от тоски на «последние до зарплаты», не пришёл бы к такому провалу, видит Бог, не пришёл бы с моим талантом!..

Талант мой я вовсе не из бахвальства вспомнил, талант у меня был недюжинный, неординарный, все мои педагоги это признавали, да плюс фактурка была – дай Боже, не зря же меня в театре, помнится, сразу на ведущие роли ставить начали, на самых что ни на есть героев, вплоть до Ромео шекспировского. Я и в училище всё больше в героях ходил, хоть и любил, бывало, характерностью в этюдах побаловаться, «оттянуться» уж вволю в подлинном лицедействе, без скидок на мордуленцию и фигуру спортивную; я тогда умненький был, благоразумненький, хоть и красавчик и на гитаре лабал с рок-причиндалами; я к своему актёрству всерьёз относился, как профессионал, не то что некоторые, уже «халтурявшие» где придётся; мне потому и будущее большое предсказывали, что всё сошлось: и данные, и дар Божий, и труд, труд, труд… Наверное, мой успех ранний меня и сгубил, или даже, пожалуй, не сам успех, а «востребованность» пресловутая, когда всё тебе само в руки идёт, всё тебе кажется по силам и за всё ты хватаешься, что ни подвернётся, а умения настоящего у тебя с гулькин нос и со стороны на себя ты взглянуть не в состоянии, так как нет у тебя ни опыта, ни трезвости, ни желания самокритику наводить, а есть одно «упоение», извините уж за литературность слога: любую роль на лету хватаешь, партнёра по сцене так чувствуешь, что и корифеи заматерелые тебе симпатизируют, даром что поучают на репетициях покровительственно, чтобы не заносился излишне, и жизнь твоя вся из спектаклей да репетиций только и состоит, остального ты и не замечаешь в азарте своём, остальное мимо сознания твоего проносится, как несущественное и не нужное, в общем-то, тебе, «гению сцены», на сцене этой живущему и театр один ощущающему как реальность…

Понятно, такое везение вечно не длится, тем более, актёр – существо зависимое, а в театре ты никогда не знаешь, чего ждать, как, что и где сложится для тебя и когда какая подлянка с тобой вдруг случится, вот как со мной, к примеру, среди сезона, когда мой запал актёрский ни с того ни с сего на спад пошёл. То ли устал я, то ли успехом меня перекормили, тут я наверняка сказать не могу, но на одном из спектаклей заметил я за собой, что на сцену я выхожу как-то без особой охоты и что вид зала меня не заводит, против обыкновения. Может быть, оттого, что зал был неполный и спектакль не больно активно он принимал, а я всё-таки к аплодисментам уже привык, но только вместо задора обычного («Ну, я сейчас зрителя с потрохами возьму!») возникло во мне некое странное сопротивление, некая, крохотная ещё, червоточина, которую я тогда за гордость мастера принял и за пробуждение, как я полагал, достоинства истинного творца. Короче, пришла мне в голову мысль, которой актёру бояться следует пуще всех неудач и провалов, а именно подумалось мне в момент выхода, что едва ли это искусство – всякую, понимаешь, невежественную публику по расписанию потешать, и что не стоит подобный зритель того настоящего искусства, на которое я способен. С этой-то червоточины всё и началось, да и как могло не начаться, если я, начинающий, искусства, видишь ли, возжелал в нормальном репертуарном театре с его графиком выпуска спектаклей, репертуарной политикой, кассовыми сборами и прочими «производственными показателями», чтобы язык их чиновничий отсох от таких слов поганых. Заметим попутно, с высоты потерянных впоследствии лет, что сам я первый со своими амбициями и вляпался, поскольку решил я в порыве творческой неудовлетворённости все роли свои углубить и задачи себе в них поставить предельно сложные, чтобы мой аппарат актёрский в полную мощь заработал и я бы зрителю не просто «диапазон» свой продемонстрировал, а явил бы уж, наконец, масштаб моего скрытого пока «потенциала». Теперь-то, постфактум, я понимаю, что для такого самораскрытия режиссёра мне надо было искать, который бы природой моей актёрской с умом распорядился и её истинные пределы установил бы в своих постановках, но тогда, в молодости, я сам себя ставить начал, по самонадеянности, за что очень скоро и поплатился. Дело обычное, оно так везде: претензии на относительную самостоятельность если кому в труппе и позволены, то разве что мэтрам «народным», которые не только в театре вес имеют и в худсовете с худруком вместе заседают, между тем как я-то в театре служил без году неделя и от меня, как от хорошо себя зарекомендовавшего молодого актёра, они все ждали, что я им в рот смотреть буду, замечания их ловя на лету и на их мастерстве учась усердно. И едва лишь я незаслуженные права на свою трактовку роли заявил, меня тут же и осадили, благо, играть мне довелось в паре с главным здешним специалистом по «внутренней линии», который мне сразу же после сыгранного эпизода и вставил на лестничной площадке за сценой, где у нас курилка была: что, мол, за фокусы я вытворяю сегодня и с чего, мол, у меня такой дикий наигрыш. А уж когда я об «искусстве» заикнулся, он меня совсем в хвост и в гриву разнёс, велев в заключении строго-настрого впредь самовольством не заниматься и осваивать ремесло, которым я, по его мнению, пока что не овладел и без которого, по его словам, «в профессии делать нечего».

Ну, я, естественно, за науку поблагодарил не без иронии, но выводы сделал прямо противоположные, о чём потом не раз и распространялся с насмешкой и в лицах в нашей гримёрке на четверых, где находил я, само собой, полное понимание, ибо их ремесло освоенное мы, молодые, наблюдали день изо дня и иначе как рутиной назвать его не могли, а уж наставник мой непрошенный тот и вовсе в своём «овладении» из спектакля в спектакль одну и ту же роль играл – себя любимого. Словом, проигнорировал я своевременное предупреждение – и зря, так как прав был старый актёр на все сто в своей проверенной лицедейской мудрости: лучше нашему брату на ремесленных штампах выезжать и тем роль спасать, чем проваливаться в ней с треском, искусства пытаясь достичь с негодными средствами. Искусство-то наше всё в выполнении сценических задач заключается, и тут порой чем проще и жестче каркас задач этих, тем надёжней роль твоя выстроена и тем легче тебе исполнять её, ничего не забывая, вперемежку с другими, играемыми и репетируемыми, и я, как всякий актёр (по крайней мере, в репертуарном театре), с неизбежностью этого упрощения тоже столкнулся, но при всём том своим профессиональным кредо делать его не стал, в отличие от остальных. И присказку худрука нашего, «Театр – искусство грубое», я вскоре возненавидел, как, впрочем, и его самого, с его сноровистыми, мастеровитыми сколачиваньями «крепких сценических действий» новых и новых спектаклей, разнящихся исключительно оформлением, да, может быть, авторским текстом, и для меня представляющих сплошную однообразную череду «кусков» и эпизодов, построенных, я не спорю, технологически правильно, но чудовищно примитивно, и сцепленных с помощью всяческой машинерии, света и музыки в единый механизм, воздействующий на эмоции зала довольно точно, но приёмами и вправду грубыми до откровенного комикования или надрывной душещипательности. И я никак не хотел быть винтиком подобного механизма, я хотел тонкости и сложности в своей игре, соответствовавших бы моей «органике», моей природной эмоциональной пластичности, за которую так хвалили меня в училище, я хотел не грубости и упрощения, а, наоборот, виртуозности предлагаемых мне на сцене задач, из которой бы только и могла родиться полифония моего исполнительского искусства, где стихия была бы отточено совершенна в своём разнообразии, а не хлестала бы балаганным сырцом «разыгрывания ситуации», как случалось у наших корифеев, когда они, как они выражались, «купались в роли».

Говорю же, искусства я возжелал, творчества постоянного и подлинного, а реальный театр редко идёт навстречу таким желаниям, он их обычно в актёрскую самодеятельность отодвигает, на малую сцену, или же вообще в подвальные студии для посвящённых, где и твой профессиональный статус оказывается под вопросом, и заработки. Конечно, будь я умней, я бы сперва карьеру какую-никакую сделал и имя бы приобрёл, прежде чем кочевряжиться и конфликтовать, да ещё с теми, от кого моя судьба в театре целиком и полностью зависела, но я и талантлив был, и успехом был избалован, а потому дерзил я, нисколько не думая, какая реакция на мою дерзость последует. Реакция же была вполне предсказуема: после серии индивидуальных попыток наставить меня на путь истинный мэтры накляузничали худруку, что я совсем отбился от рук, и тот, посмотрев на ближайшем спектакле одну из сцен с моим участием, вызвал меня к себе в кабинет «на ковёр», общаясь со мной, как у него всегда получалось в кабинете, параллельно с чтением и подписыванием служебных бумаг и разговорами по телефону.

– Вот что, друг мой, – сказал он мне, вскользь взглянув на меня и даже не пригласив сесть, ввиду краткости предстоящей беседы. – Мне на тебя жалуются. Ты же способный актёр, не порти хорошего впечатления о себе. Делай на сцене то, что положено, без самодеятельности. Если каждый начнёт одеяло на себя тянуть, ты ж понимаешь, что тогда от спектакля останется… Спектакль это машина, друг мой, она работать должна…

Дальше, читая документы, он машинально повторил эту свою оригинальную идею несколько раз на разные лады, дважды по ходу прерванный телефонными звонками, а затем, подняв глаза, с удивлением обнаружил меня в кабинете и, похоже, не вспомнив, зачем я здесь, заключил свою речь традиционным «В общем, иди, работай».

Я, разумеется, не угомонился, более того, стал предлагать худруку на репетициях свои домашние заготовки, что он, вроде бы, приветствовал, но лишь в том случае, если они делались в рамках уже проработанного им куска, и однажды всерьёз принялся препираться с ним по поводу моей роли, а он, как любому было известно, подобные споры терпеть не мог и допускал их отчасти только в работе со злопамятными мэтрами, способными иначе обидеться и устроить ему кто скандал, кто «итальянскую забастовку», дабы сорвать весь «репетиционный процесс» своим демонстративно формальным исполнением его режиссёрских указаний. Худрук остановил репетицию и, с неприятной задумчивостью разглядывая меня со своего стула, поинтересовался у окружающих, кто здесь режиссёр и с профессиональным ли актёром он имеет дело, а не получив ответа, сухо пообещал при следующем нарушении трудовой дисциплины снять меня с роли, пусть это и будет в ущерб постановке. Короче, он без лишних эмоций поставил меня на место, «загнал под лавку», как это именовалось в труппе, чего я перенести не сумел, хотя и понимал умом, что должен заткнуться и не подставлять себя, дурака, под удар.

– Я думал, – заявил я, с трудом управляясь со своими, прыгающими от накрывшего меня «психа», губами, – что театр это творческое учреждение… И что я в нём занимаюсь искусством…

Тут наступила очень опасная тишина, поскольку все присутствующие отлично знали, что если перечить в мелочах прославленному нашему мастеру сцены было ещё иногда простительно, когда он бывал в добром расположении духа, то касаться темы «святого искусства», коему он, по его мнению, служил «на театре» всю свою жизнь, запрещалось категорически, учитывая, что критика долбала его, как правило, именно за кондовую ремесленность его многочисленных постановок, тем не менее, как неизменно парировал он, нравящихся публике и собирающих полные залы.

– Вы искусством уже не занимаетесь, – с нажимом на не свойственное ему в обращении «вы» изрёк он без каких-либо интонаций, явно оберегая свою изношенную нервную систему от ненужных переживаний. – С роли я вас снимаю, можете быть свободным…

И я ушёл, как побитая собака, из репетиционной комнаты, притом, как вы понимаете, без права на негодование и возмущение, чтобы и со старых ролей не вылететь, на которых я был оставлен в воспитательных целях, но новых ролей я с тех пор лишился, хотя и вводился на мелкие эпизоды в готовых спектаклях, простаивать мне не давали, загружали всякими «кушать подано», как какого-нибудь статиста, отнимали моё драгоценное время на такие вот унижения, а то, не дай Бог, бездельничать буду, даром хлеб есть, и привело всё это к тому, что я от хронической обиды и злости «закладывать» начал систематически, чего за мной раньше не наблюдалось. А как же не пить тут, коли меня каждый день сапогом по мордасам за мои творческие убеждения и никто мне в моём унижении не сочувствует, все, напротив, повиниться пойти советуют, в ножки упасть и свой шесток знать, как они, при случае, попеременно меня в курилке просвещали, сами, поди, не раз через сходные унижения прошедшие и опытом своим горьким давно наученные.

– Ты пойми, мы же для него куклы, а он Карабас-Барабас, – втолковывал мне премьер наш сорокалетний, который всё юношей играл, благодаря худобе и костлявости. – Захочет и вообще не достанет тебя из ящика. Он-то ещё хоть не гений, а то я работал, помню, у одного… Чуть где рисунок роли изменишь, он сразу в истерику: режиссуру его гениальную испортил – как же! Разрушил ему весь художественный замысел! Наш, хоть и хам, но актёра он всё-таки понимает, сам, небось, в молодости актёром был…

Насчёт понимания сомнений действительно быть не могло: худрук нас всех насквозь видел и, думаю, в интригах да в умении нос по ветру держать равных ему не было, а то бы он в своём кресле не усидел в окружении ему подобных, которым тоже палец в рот не клади – в момент любого сожрут и косточек не выплюнут. В том-то и был весь ужас моего положения, что понимал он меня превосходно во всех моих жалких поползновениях и постановил он меня на вторых ролях держать, покуда спесь с сопляка не собьёт, а я в гордыне, меня обуявшей, ученика благодарного из себя не изображал и показам его репетиционным следовать не соглашался, притом что показывал он, надо признать, мастерски, актёр он был мощный, тотчас преображаясь из себя, коренасто-тяжеловесного и вечно насупленного, то в хрупкую нервную барышню, то в элегантного аристократа, то в плутоватого пройдоху-слугу. Нет, я, конечно, больше не спорил, чтобы последнее не потерять, но я уже о свободе мечтал, как будто свобода мне в театре была где-либо, кроме как в роли на сцене, и я потому показы его хоть и принимал к исполнению, однако без особого увлечения, не присваивая их, так сказать, творчески, а когда ты ролью не загораешься, когда ты в ней не выкладываешься и даже неловкость какую-то за себя в ней чувствуешь, публика это твоё неверие актёрское видит, пусть ты нигде прямо и не фальшивишь, и сцена тебе твоей приблизительности не простит, будь уверен. Театр он жалости ни к кому не знает, он на жертвах стоит, и нужна ему твоя жертва или не нужна, ты рассуждать не должен, твоё дело – сцене всего себя отдать, причём в любых ролях отдать, отдать, независимо от карьеры твоей, а порою и от успеха, и как бы жизнь твоя театральная ни сложилась, ты, актёр, на сцену как на алтарь идти обязан, то бишь, сжигать себя там каждый раз, а не зарплату свою эфемерную отрабатывать. Всё это, разумеется, банальности, кто спорит, да жаль, я в моём тайном бунте банальности эти во внимание не принял, а сцена мстит и ей безразлично, почему ты на ней «в полноги» работаешь, и вышло поэтому, что, к искусству стремясь, я от искусства-то ненароком и ушёл, а ремесла достаточного я к тому времени не набрал, отчего, избегая явной фальши, и роли свои я вёл теперь в среднем регистре, на этаких разговорных бытовых интонациях, которые у других самому мне были отвратительны.

Так что былые симпатии ко мне в труппе заметно поуменьшились, и я, озлобляясь, жаловался, как все мы, кому ни попадя, в актёрских пьяных компаниях на несправедливость, жалости душой своей оскорблённой искал, а кто ж нас униженных-падших жалеет, если корысть свою не преследует, если к рукам прибрать не хочет? Тут я брак мой имею в виду, скоропалительный, без которого я бы в другом состоянии вполне обошёлся, ограничиваясь, как прежде, романами, которые у меня до того пару раз возникали в актёрской общаге, куда меня театр поселил, тем более, поначалу и времени-то мне не хватало на любовные похождения. Подцепила меня, естественно, своя же актриса, которая на меня давно глаз положила, а затем, значит, на сострадании умело сыграла, ну и, к тому же, круг общения у меня был не ахти какой обширный и главное было вовремя подвернуться с искомой жалостью да сочувствием таланту в несправедливых гонениях. Брак мой сперва от романов не слишком-то отличался: тот же быт коммунальный с общей кухней и удобствами на этаже и тот же бардак в комнате, где мы вдвоём жили; разница, однако, была теперь в моём образе жизни вне театра, потому что нынешняя моя подруга оказалась девицей крайне практичной и быстренько отыскала мне множество мелких халтур для побочных заработков: где стишки на празднике прочитать, где мероприятие какое провести или концерт, а где и Дедом Морозом «чёсом» по ёлкам на новогодних утренниках. Короче, подъехала, как обычно: «гений, гений!» (что-что, а «шоколад лить» она была мастерица), и зарядила по полной программе на всё свободное время, так что и пьянку страдальческую мне пришлось прекратить, и в театре появляться в последний момент, минута в минуту, тем паче, те деньги, что мне в театре за месяц работы платили, я, бывало, за вечер сшибал с гитаркой на чьём-нибудь офисном сабантуйчике. Кабы я тогда всерьёз поразмыслил, что мне делать бы стоило, я бы, наверное, ни женой не обзавёлся, ни в заработки бы не полез, а бросил бы всё да поехал в других театрах пробоваться, пока молодой, но я, по собственной слабости, на бабскую дешёвую сердобольность купился и на «выход» наметившийся – с процветанием в перспективе, и стал я довольно скоро не в театре уже утверждаться, не на сцене, а в заработках своих растущих, и новая эта свобода, которую деньги давали, так мне мою головушку бестолковую вскружила, что я на тех, кто в театре гроши получал за труды самоотверженные, свысока частенько поглядывал и над рабством их добровольным в душе посмеивался, даже и не догадываясь, как мне за это моё кощунство расплачиваться потом предстоит.

Ну, и поскольку я теперь то был занят на стороне чем-то «общественно-полезным», то «напряжение сбрасывал» известным способом, я иногда и на репетиции уже опаздывал, и на спектакли к самому выходу прибегал, спасибо, девочки-помрежи меня выручали до поры до времени, докладных не писали и завтруппой не жаловались, и всё бы ничего было, кабы я сам не распоясался и на «папу» нашего со своим опозданием не нарвался («папой» мы худрука за глаза между собой называли за его отеческий тон, ничуть, кстати, не добродушный, а, скорее, бесцеремонный в привычном «тыканье» и разносной матерщине). Главное, у меня в том эпизоде и слов-то, считай, почти не было, персонаж-то сугубо служебный, не из-за чего, казалось бы, и огород городить, а я, как нарочно, с утра на выгодной халтурке народ потешал, с приличными «башляниями» за мои песенки под гитару, помимо оговоренного гонорара, так что на репетицию я примчался разгорячённый и малость «поддатый» после такого «творческого общения», но и это бы, вероятно, никто не заметил, не опоздай я и не явись в аккурат в самый критический момент, когда моя реплика уже не прозвучала и моё отсутствие стало, как любил выражаться худрук, «фактом вопиющей безответственности». В общем, обратил я на себя внимание и очень не вовремя, учитывая, что «папа» как раз был в дурном настроении, а не услышав моей реплики, мигом пришёл в ярость и, увидев меня, пытавшегося за его спиной украдкой присоседиться к остальным, наехал на меня в присущей ему манере хамской вежливости, переходящей в грубую брань.

– Что вы там крадётесь? – рявкнул он, обернувшись ко мне. – Сперва он нас всех ждать себя заставляет, а потом крадётся!

– Извините за опоздание, – попытался я оправдаться, но, как говорится, поезд уже ушёл.

– Не извиню! – заорал худрук в полный голос, давая выход своему могучему темпераменту, что с ним всегда случалось, когда обстоятельства вынуждали его откладывать немедленное разбирательство даже на несколько минут. – В театр только пришёл, а уже манкирует! Уже замашки премьерские! Уже опаздывать он себе позволяет! Народные артисты пусть его ждут, а он гулять будет!..

– Я не гулял, – вякнул я робко, оглушённый его устрашающими воплями, ибо голосок у него был поставлен – дай Бог всякому.

– Молчать! – взревел он зверино, побагровев и массивным лицом и всей своей толстой борцовской шеей. – Я тебе слова не давал! Ты кто в театре, чтобы рот открывать?!

– Я актёр, – ляпнул я, не сдержавшись, вместо того, чтобы тихо сопеть в тряпочку и пережидать молча приступ его неуправляемого гнева.

– Кто? – изумился он, уставившись на меня совершенно безумными глазами садиста, сияюще прозрачными от торжества творимой расправы. – Он актёр, вы все слышали?! Он думает, он актёр! Он!..

– Актёром, друг мой, ещё стать нужно, – прервав свои патетические взывания, почти ласково сообщил он мне этаким неожиданным барским говорком. – А те, кто коллег по цеху не уважают, те, кто на театр плюют, те актёрами на становятся. Каботинствовать он мне будет, нуль без палочки! – снова понёс он, распаляясь. – В лицо он будет плевать! Да знаешь, что я с тобой сделаю? Знаешь?!

– Знаю, – опять взыграл во мне бес мой неугомонный, подзуживавший меня нестерпимо после его ефрейторского «Молчать!». – А вы и так на новые роли меня не ставите второй сезон.

– Не заслужил, дружок, – оскалился он издевательски, видимо, решая, сразу меня, говоруна, убить или ещё помучить. – Мы, господин хороший, в искусстве работаем, между прочим, – вставил он ни к селу ни к городу обращение из какой-то горьковской пьесы. – И бездельники нам не нужны. И выскочки тоже. Нам актёры нужны, чтобы роли играть, которые им дают…

– Ну, да, – перебил я его совсем уж напрасно, – сейчас вы скажете: «Нет маленьких ролей».

– Нет, я не это скажу, – зловеще притих он, как все подумали, перед взрывом, и вдруг закончил сухо и неприязненно. – Я скажу, что таким не место в театре.

– Это почему же? – холодея от непоправимости происходящего, ещё хорохорился я беспомощно.

– Подготовьте приказ на него, – не удостоив меня ответом, велел он даме-завлиту, которая занималась в театре оформлением такого рода документации. – Пусть он своё самомнение другим показывает, раз наш театр его не устраивает.

«Устраивает!», хотел я крикнуть ему, но и тут опоздал с извинениями и покаяниями, которые бы меня, быть может, спасли.

– Сейчас перерыв на десять минут, а потом обсудим, кого мы вместо него введём, – с бесповоротной уже деловитостью подвёл он черту и, не взглянув на меня, более для него не существовавшего, пошёл себе из репетиционной комнаты по своим делам.

Вышибли меня, понятно, не только из театра, но и из общаги, и мы с женой вынуждены были отныне снимать комнату, на что, естественно, требовались «пети-мети», а кроме того, после моего неожиданного изгнания худрук мстительно гнобил оставшуюся в труппе супругу посрамлённого им «бунтаря-одичночки» и мне это отливалось её ежедневными сетованиями на мой склочный характер, способный разрушить заодно с собственной и чужую карьеру, посему, вконец на вся и всех разобиженный, показами-пробами в других театрах я пренебрёг и гордо ушёл на вольные хлеба «зашибать деньгу» своими не оценёнными в театре дарованиями. По этой скользкой дорожке я вскорости докатился до роли организатора и ведущего всяких-разных торжеств и застолий, или конкретно – «тамады», как меня попросту именовали заказчики, и в этой наиболее прибыльной роли застрял я надолго, поскольку поток заказов не иссякал, а быт соответственно налаживался, улучшая попутно и наш семейный климат, особенно «устаканившийся» с приобретением своей квартиры и необходимых к ней дополнений. Сегодня, правда, все эти благополучные годы видятся мне, как ни странно, каким-то провалом небытия, хотя небытия довольно-таки суматошного и изматывающего до предела, и плюс к тому, празднично освещаемого вспышками коротких моих романов, связей и «перепихонов» по случаю, которые моя хитромудрая жена терпела, якобы и не подозревая о них, до тех пор, пока я её достаточно обеспечивал этой своей сумасшедшей гонкой за дензнаками, словно бывшей подспудно в добываемым мной «благосостоянии» моим демонстративным ответом театру, отвергшему меня. Нет, в театре, конечно, тоже всегда свой сумасшедший дом и тоже своя нескончаемая гонка от премьеры к премьере, но там бы я свою жизнь ролями мог размечать, там бы я двигался как-то творчески, там бы я набирал что-то как актёр, а «тамадой» куда мне двигаться было и для чего меняться, если я в этом занятии, наоборот, именно на привычных штампах преуспевал с дополнением мелких импровизаций и исключительно наработанными приёмами действовал, заведомо безотказными и эффективными.

И, возможно, так бы я дальше и благоденствовал прожжённым халтурщиком до старости, кабы однажды, по истечение едва ли не десяти лет, не заглянул я, на свою беду, в тот же наш театр, за кулисы, жену забрать после одного из премьерных спектаклей. Там в тот вечер второй состав вскладчину премьеру свою обмывать собрался в гримёрке, и я, разумеется, не утерпел, присоединился, вошёл в долю, не мелочась, с барским размахом, чтобы уж показать всем этим забитым «театральным деятелям», как иные творческие работники живут, которые на свободе талантом своим промышляют. Излишне, думаю, говорить, что нажрались мы сообща до поросячьего визга, жену свою я послал матерно за то, что мне жизнь сгубила, «несостоявшемуся», потом я куда-то за подругой её попёрся по лестницам и коридорам, с тем чтобы трахнуть её немедленно в ближайшем закутке, но она исчезла внезапно в кружащем меня тумане, а я присел на секунду передохнуть в какое-то кресло и, когда я очнулся, обнаружил, что сижу я среди бутафорского хлама за задником на сцене и что, судя по тишине в театре, гулянка давно кончилась и все разошлись по домам. Сполз я с ветхого деревянного трона, на котором, оказывается, уснул, выбрался, чертыхаясь, из-за задника и очутился опять на сцене, на той же самой сцене, только что тёмной и пустой сейчас, ночью.

Огромна она была без кулис, черневших где-то вверху под колосниками, неподвижен был пыльный воздух её, и в тусклом призрачном мареве одинокой лампы дежурного света лежала сцена передо мной страшным вываленным языком своего дощатого пространства, высунутым глумливо из отверстого мрака зрительного зала. Нем был сейчас серый язык этот, слизывающий бесследно звучащие разноцветные миражи спектаклей вместе с их живущими всего лишь миг персонажами, вместе с коротким, как их жизнь, лицедейством, вместе с исчезающими в закулисном небытии театральными судьбами и ускользающим утешением успеха; нем был и пустой зал; и в немоте пустоты и тьмы царством теней предстал мне мир сцены, мир, в замкнутом пространстве которого рождались мы все для пожизненного игрового самозабвения в пасти этого завораживающе влекущего чудовища, поглощавшего нас навсегда под спасительные всплески аплодисментов. В немой бездыханной пасти спящего театра стоял я, погружённый в тёмную жуть подмостков, и с ужасом сызнова ощущал себя всё той же бесформенной тенью, ищущей воплощения роли, всё той же счастливой жертвой этого гибельного пира, всё тем же отчаянным лицедеем, не существующим вне мира игры… И, как в романтической трагедии, пал я на доски сцены, обнимая её, эту бездну, и заплакал я детски в пьяном своём покаянии, и обещал не бросать её никогда до самой смерти, ибо вдруг осознал я, пронзённый прежней своей обречённостью театру, что жизнь для меня – только здесь и что там, снаружи, нет ничего, кроме морока, в котором уже пропали лучшие мои годы…

Вот тогда, на сцене, я и поклялся себе всё искупить и исправить, как будто бы от меня это зависело, смогу я вернуться на сцену или нет и продолжится ли мой прерванный путь в искусстве, хотя, отметим, со своей стороны я такие решительные шаги сделал, что вскоре совсем без работы остался. На мой демарш моя благоверная отреагировала со свойственной ей чуткостью: я, мол, твою бесстыжую пьяную рожу и так долго терпела, хватит, актёра он, видите ли, из себя корчить будет, спохватился; а квартирка-то, между тем, на неё была оформлена, да и перед разводом она мне столько наговорила о моём моральном облике, что я бы и сам ушёл куда глаза глядят, лишь бы её не слышать и не видеть, уйти же мне удалось в чтецы в филармонию, то есть, обратно в родную актёрскую общагу, где я с тех пор и осел.

Нет, поначалу-то я во все театры показывался, и монологи читал, и песни пел под гитару, но в нынешнем моём виде нигде я что-то не приглянулся и никому, даже давним своим знакомым, которые с доверительной фальшью, конечно же, на мнение худсовета лицемерно ссылались, чтобы быстрей от меня отделаться. А главное, я и сам чувствовал, что форму я прежнюю потерял за годы моего прикладничества и что лезут везде, против моей воли, гнусно-бойкие накатанные интонации цветистых прочувствованных тостов да поздравительных здравиц, отчего и не решился я в другие города ехать, счастья искать со своей благоприобретённой топорностью и скованностью, крайне мне непривычной и пугающей, потому что готовился я одни внешние препятствия преодолевать, а напоролся нежданно на сугубо внутреннее, на свою собственную природу, которая, как выяснилось, к тому и приспособилась, что я ей навязывал в качестве «сценических задач» в пору своего отлучения от театра.

Поэтому, когда меня после очередного прослушивания не выпроводили с небрежной благодарностью, а, наконец, работу мне предложили, я зубами в их предложение вцепился и на все их условия, не раздумывая, согласился, включая зарплату, которой бы раньше мне и на вечер в кабаке не хватило. Я же надеялся, я восстановлюсь актёрски, когда на сцене опять чуть-чуть поработаю, я филармонию эту как трамплин для возвращения в театр рассматривал, я ещё собирался каждый сезон во все двери стучаться, пока не возьмут куда-то, пускай на вводы и во второй состав, однако попал я там, в сущности, в такую же гонку, что и раньше, даром что уже за копейки и с разъездами по «глубинкам» сельским, ввек бы я их не видел с их автобусами и вонючими фанерными сортирами. Сперва я было всерьёз свои номера выстраивать взялся, с подробными разработками, с «проникновением» и нюансировкой, чтобы всегда отточенное искусство на публику выносить, а не формальное «изложение материала», но, во-первых, гоняли меня, в основном, по школам и с «рекомендованными авторами» или по области, где публика была не особо разборчивая и к персоне моей достаточно равнодушная, покуда дело до юмористики не доходило, а во-вторых, мной, как «мастером художественного слова», все дырки везде и всюду затыкали, на всех праздничных концертах меня выпускали, во всех массовых зрелищах использовали и на всех торжественных собраниях я приветствия озвучивал, так что текстов мне приходилось заучивать огромное количество, причём на скорую руку, и в такой нескончаемой круговерти удерживать в памяти всякие филигранные тонкости было и невозможно, и, по правде сказать, бессмысленно: подвиги-то мои творческие ни к чему не вели и требовалось от меня отнюдь не искусство, а именно ремесло, то бишь, навык определённый и отработанность ходовых клише – то пафоса ходульного, то юмора с доброй улыбкой, то лиричности задушевной.

Подсел я, короче, на очередные штампы, хотя и старался я изо всех сил не ими одними довольствоваться, даже самостоятельно целую программу сделал, пусть и не по тому автору, которого я хотел читать (Андрей Платонов, конечно), а по тому, которого в школе проходят (Максим Горький тоже не худший вариант); беда моя снова не столько во мне самом была, сколько в образе моей жизни, не дававшей мне ни остановиться надолго, ни сосредоточиться как следует на «искусстве в себе». А он, заметим, не случайно на этом настаивал, основоположник наш, он хорошо знал, о чём говорил, и всю систему свою он создал, чтобы свои же собственные комплексы преодолеть и на искусство настроиться, чего вот я, например, сделать не сподобился, притом что как чтец примелькался я в городе повсеместно, в том числе в профессиональных кругах, заслужив в театральной среде стойкую репутацию «народного умельца», годного разве что на громогласное чтение приветственных адресов да на ведение с шутками-прибаутками чьих-то творческих вечеров. Правы они, в сущности, коллеги мои, правы в отношении меня, и мне правоту их крыть нечем, действительно, с этим пьянством моим безысходным былую цепкость я потерял безвозвратно и роли фиксировать совсем разучился, кроме масок карикатурных на потребу, да и давно уж махнул я рукой на все свои грандиозные планы и амбиции, читая, что ни дадут, без разбора и с одинаковым равнодушием, по испытанному рабочему принципу: «посадил на задачу и дуй до горы!»

А разве затем я актёром когда-то стал, разве же ради такой вот известности несуразной да сожалений таких злорадных обо мне, горемыке, да о таланте моём загубленном? Я же как будто свободы всегда хотел, я, вроде, наоборот, утвердить свой талант пытался, – утвердить, а не попусту разбазарить! – и к чему я, в итоге, пришёл? К столику этому замызганному под пластиковым навесом, к островку этому освещённому под дождём у забегаловки, где я гроши последние пропиваю и жизнь свою неудавшуюся на салфетках анализирую… Толку-то нынче в моём анализе, если пропала она уже, сколько бы я ещё ни прожил, сколько бы ни пропьянствовал беспросветно в общаге моей убогой да в ночёвках тоскливых по всяким районным захолустным гостиницам, сколько бы ни выходил я на сцену с выступлениями своими бездарными… Бездарными, ничего не попишешь; как и чем ни оправдывайся, а бездарными, бездарными безнадёжно! Утверждаться в искусстве надо было, пусть даже и через все унижения, пусть не востребованным, пусть нищим, а я его предал, искусство, я жизнь свою ради него на алтарь не положил, я самолюбие своё выше искусства поставил, за что мне сегодня и воздаётся на выступлениях моих…

Да незачем мне выступать больше! противно мне выступать! нет мне уже никакого смысла на сцену выходить! Нет смысла – таким!.. И что же тогда? И куда податься? И кем? Я же актёр, неужели же непонятно?! Актёр я, урод, другими словами, ни к чему я более не пригоден! Я же без сцены никто, я без неё пустое место! Если без сцены, тогда мне только в бомжи, в свободный полёт, в жизни мне делать нечего!..

Впрочем, можно и проще. Значительно проще можно, не затягивая агонию. «В свободный полёт», да? Так вон он, полёт: по мосту чуть пройтись – и вниз, в реку. Там, поди, метров шестьдесят до воды, так что верняк. И в забвение… А, как? Греет? И, главное, почему нет? Что у нас против, какие доводы? Никаких, ни малейших. Хватит, ей Богу, позориться и компромиссами вечными душу свою изводить, будем хоть раз честными до конца… Когда сам себе отвратителен, это ещё куда ни шло, но свой талант презирать, но искусство своё ненавидеть – это уж слишком, это претерпевать не стоит…

Ну, и давай не откладывать, чтобы не передумать. Допьём напоследок стакашку и вперёд! Официантка, надеюсь, мои салфеточки заберёт, когда убирать будет…

Ладно, актёр, пьём последнюю – за святое искусство! Занавес, господа! Финита ля комедиа!

Вот и всё, вроде, водка выпита, точка поставлена. Теперь пойдём, полетаем…

Всё-таки не простил мне театр, ничего не простил!..

\*

ЭПИЛОГ ТРЕТИЙ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

(Страницы из записной книжки)

…Да читал я вашего Достоевского, читал, как и вы, – нечего из меня тупого дегенерата делать! Ну, и что? И какая мне польза с этого чтения? Узнать, что и раньше так было, как в моё время? И этим всю жизнь подлость свою оправдывать, как все вы, «благоразумные», с присказкой вашей трусливой: «что было, то будет»? Да плевать мне на то, что было, меня тогда не было, а вот сейчас я есть и вопрос конкретно передо мной стоит, не перед кем-то! Вы-то меня, понятно, «гуманизму» учить хотите, как вам, благополучным, выгодно, вы потому Достоевского мне и подсовываете – гляди, мол, какие идеи неправильные и к каким последствиям пагубным они приводят, не поступай, мол, так плохо, не злобствуй в подполье, не то через ненависть, упаси Господи, бесом станешь и заповеди нарушишь про «возлюби» и «не убий», а ты же хороший мальчик и мы в тебе «чувства добрые» пробуждать будем «лирами» нашими поэтическими, наёмными да холуйскими, и «перьями» нашими борзописными, лживыми да продажными… Что, нет, не правда? Не холуйствовали вы перед бандитом кремлёвским искусством своим фальшивым, «деятели культуры» советские, «классики» самозваные, не врали, скажете, напропалую, не воспитывали «идейно» хороших мальчиков для душегубов партийных?! Ну, и заткнитесь с вашей моралью и «духовными ценностями», я вам не ваш хороший мальчик и ни слову я вашему не верю, ни единому слову! Один раз уже под ваши припевки о «героизме» страна эта концлагерем массовым стала на десятилетия, а теперь вы её присвоили частным образом и опять крепостное право тут вводите, с собою, с хозяевами, во главе, и я, по-вашему, добровольно в рабы к вам идти должен и несправедливость такую терпеть?! А ради чего, позвольте спросить? У меня, может, будущее какое-то впереди просматривается, «светлое», как у вас, или же перспективы какие-то обнадёживающие? Как же, получишь от вас что-нибудь, разогнался! Будущее сегодня у тех, у кого бабки да собственность, или должность какая административная, все эти «блага» им обеспечивающая – по ноздри и до отвала, а у меня впереди прозябание, в лучшем случае, а в худшем – тюряга и зона режимная за колючкой, если законы я преступать начну, которые вы, грабители, нам, ограбленным вами, пишете… Разве не так? Разве оно справедливо хоть в чём-то, «общество» ваше нынешнее? Сами же знаете, что нет, что на преступлении оно основано и на обмане стоит, что лживо оно насквозь и только насилием и нуждой держится, знаете, но не признаёте, чтобы благополучия своего не лишиться, службы своей доходной да статуса своего «социального», и с вами хоть что можно делать, хоть как унижать и использовать, – вы всё снесёте, всё молча проглотите и ко всему услужливо приспособитесь, лишь бы и впредь могли вы тянуть себе, подгребать, бытовые уюты свои выстраивать… Да что о вас говорить, о массе, о приспосабливающихся, которых всегда и любой режим устраивает, и любой строй, даже бандитский, даже с очередным «вождём» плюгавым, из грязи в князи вскарабкавшимся, – вы для того и существуете, чтобы из вас лепить что-то, чтобы месить вас, как глину, сапогами самодержавными и болванчиков верноподданных из вас штамповать, и совесть вас никогда не мучит, за соучастие ваше и за службу холопскую, какие бы вас подонки и негодяи в делах своих ни употребляли, а достоинство если у вас и есть, то сугубо для частного применения, в остальном же сплошь мудрость житейская, которая к одному вся сводится: похлебай, мол, дерьма с моё, тогда и в начальники выберешься…

Мерзки вы мне, не буду скрывать, – и вы, и все оправдания ваши, – мерзки и отвратительны, а власть эта ваша сегодняшняя мне ненавистна, и я ничего и ничем оправдывать не намерен, как и сносить не намерен всё то, что для вас обыденность повседневная и в чём вы барахтаетесь безропотно изо дня в день; я, не в пример вам, своими словами всё называю и действую я, как считаю правильным, как совесть моя велит, ещё не выродившаяся, в отличие от вашей, или от той, успокоенной, которая вашим бывшим «властителям дум» теперь свойственна, обличителям прежним бескомпромиссным «системы» коммунистической, что, помнится, раньше вовсю о несправедливости и свободе разорялись и разрушению своего государства «тоталитарного» способствовали во имя «прав человека», а после, на Западе малость подзаработав свободолюбием, там пригодившимся, на «освобождённую Родину» с триумфом вернулись, победители героические в неравной борьбе с «режимом», как будто они такие наивные и знать не знают, кто эту Родину и от чего освобождал, самому же себе власть передавая и якобы новую точку отсчёта устанавливая, и как будто не ведомо им, кто и для чего привечает их в этой «новой России», от недавнего «славного прошлого» отмазываясь, с тем чтобы свой грабёж состоявшийся «прогрессом» и «демократией» объявить. Но я не страдалец вам мягкотелый с укором нравственным, не радетель я престарелый за «правду» полувековой давности, не критик я словоблудный «совка» вашего маразматического, я при советской власти совсем ещё малым дитём был, а, значит, и всё моё у меня уже после, уже в эпоху крушения, и опыт, и правда моя, и я мою совесть свечечками церковными умиротворять не собираюсь, потому что и церковь, по существу, приспосабливается только, обходит она осторожно самый насущный, главный вопрос, самый явный исток деградации и первопричину «греховности» всенародной, виновников она в своих проповедях не упоминает благоразумно и анафеме никого не предаёт, она, эта церковь обласканная, обобщённо, быть может, и порицает – «пороки» там, или искушения дьявольские, однако без лишней конкретики порицает, без перехода на личности, так сказать, и против всесилия настоящего, реального зла она не восстаёт, словно не замечает, что снова Антихрист тут торжествует, пусть и в других обличиях, и что снова несправедливость царит, причём куда худшая, чем недавно была! К тому же, и в церкви-то нашей кто нынче в почёте, как не власть эта? Церкви ей тоже после былых гонений прежде всего её процветание нужно и «благолепие» с позолотой, прочее для неё «земное», как она с амвонов открещивается, дабы и дальше власти полезной быть да народу терпение-смирение внушать и «чистоту душевную» – в повальной подлости и обмане. Нет уж, сограждане вы мои дорогие, извините, но я вам не свечечки ставить буду, не свечечки, нет, а бомбы…

Бомбы, вы не ослышались, о бомбах как раз я речь и завёл. А с чего бы, вы думали, я на чердаке этом сижу, у пыльного этого полукруглого окошка, и мысли свои крамольные в записную книжку записываю? Жду я, когда объект мой появится из дома напротив, из офиса своего, а тогда нажму я на кнопочку и большой-пребольшой сюрприз ему преподнесу… Охрана-то у него профессиональная, как положено, и они всё вокруг всегда проверяют на взрывчатку, но у меня для него особое «ноу-хау» заготовлено: заряд мой на противоположной крыше лежит, куда никто давно не заглядывал, кроме меня, и в нужный момент бомба моя на него прямо с небес упадёт, чисто как кара Божья, и рванёт она так, что мало никому не покажется, для чего, собственно, я и должен сейчас самолично весь данный процесс на мобильнике наблюдать через камеру. Дело, конечно, довольно опасное, и есть вероятность, что бойцы его могут, на всякий случай, и мой чердак проверить, но, во-первых, я для себя запасной путь отхода приготовил – через крышу и через соседний дом, а во-вторых, пистолет мой при мне и пользоваться я им умею, поверьте на слово, так что кое-кого из непрошенных проверяльщиков я положу за милую душу, чтоб не совались куда не надо. Но даже если они меня действительно засекут и накроют на месте преступления, даже если удастся им обложить меня на чердаке со всех сторон, главное – чтобы я дело намеченное сделать успел, а там уж я буду отстреливаться до последнего патрона и последний – в себя, как я однажды раз навсегда решил, после того моего взрыва у ресторана, когда эта девочка случайно погибла, которая мимо с матерью проходила в самый неподходящий момент и под осколки окна попала… А окно, заметим, огромное было, витрина целая, и урна с моим гостинцем одному из клиентов при выходе совсем рядом стояла, поэтому посекло её страшно, в куски, да ещё в этом месиве ручка её оторванная с пальчиками подёргивающимися, снится она мне с тех пор постоянно в ночных кошмарах… И что странно, когда, скажем, взрослых в клочья нечаянно разносило, у меня, бывало, наоборот, злорадство какое-то появлялось, почти ликование (типа «вот вам, за всё, получите!»), а на ребёнке меня заклинило. В сущности-то, обычная случайная жертва, «сопутствующие потери», что называется, неизбежные и вполне допустимые, как показывает и мировой опыт, и уж, тем паче, история наша кровопролитная, но лучше бы её не было у ресторана, этой крошки, лучше бы я такой грех на душу не брал…

Впрочем, чего теперь каяться зря, содеянного уже не исправить, да, очевидно, иначе оно и не бывает, когда черту переступишь, когда решишься и, наконец, первый шаг сделаешь, после которого только ты сам выбираешь каждый раз – запустить её, эту случайность, или дать им ещё чуть-чуть пожить, кому-то, тем, кто вот-вот под случайность твою попадёт и для кого она роком окажется. Террор тем и страшен, что слеп он для жертв и не могут они ни предвидеть его, ни избежать, ибо решает за них кто-то другой, им неведомый, и притом наугад решает, не как когда-то на государственном уровне, в «сталинские тридцатые» приснопамятные, где в страхе общем животном хотя бы надежда слабая оставалась – умилостивить кого-то, в чьих руках тогда рок был, и кару свою смягчить, может быть, пусть и предательством всех и вся, и оговорами остальных, невинных, которых жертва такая загнанная за собой в мясорубку тогдашнюю утягивала, спастись думая да близких своих спасти пытаясь… Нет, если сравнивать, то мой частный террор куда как гуманней, он у случайной жертвы хотя бы душу не отнимает, прежде чем жизни лишить, притом что для не случайной он справедливое возмездие несёт, за конкретные преступления, а не за те, сфабрикованные на скорую руку под расстрельный процент, сверху «вождями» спущенный, и я им, террором моим, пусть и самую малость, но всё-таки эту несправедливость царящую исправляю, поскольку должен же кто-то против неё восстать всерьёз, должен же кто-то от лица миллионов, зверски загубленных, наследникам палачей воздать – и за бойню ту всенародную под красным флагом, и за последующее присваиванье целой «страны Советов» шайкой их «аппаратной» с теми же «органами» чекистскими во главе… Вы нас историю Родины изучать призывали в школе, вот я историю эту реальную, людоедскую, и изучил, чтобы затем проанализировать должным образом и выводы соответствующие сделать – относительно прошлого, как бы минувшего, и настоящего, как бы с прошлым порвавшего, а главное, относительно себя самого в эту вашу «эпоху стабильности», когда всё только для вас, богатых и очень богатых, на обнищанье народном свои капиталы клепающих, на крахе моём житейском и жизненном жиреющих, как клопы-кровососы. Потому что нечем мне жить и незачем, если вы тут с вашей подлостью да бесстыдством властвуете и нас, не богатых, походя топчете, если ни совести места нет, ни справедливости, а есть один ваш делёж закулисный и ложь откровенная наглая по всем телеканалам, с рожами вашими лицемерными, всякую хрень населению впаривающими – о «благе народа» да о «великой России»…

Всех вас я, разумеется, не взорву, к сожалению, и до верхушки, скорее всего, не доберусь без ядерного заряда, а то б я его возле Кремля в действие привёл и глобальную катастрофу бы вызвал, на весь этот век ваш, на всё это будущее, где мне всё равно ничего не светит, ни мне лично, ни таким, как я… Всех не взорву, как ни жаль, однако же некоторых достану, будьте уверены, отдельных, что называется, представителей касты вашей неприкасаемой, списочек таковых, предварительный, у меня имеется и несколько крестиков в нём уже проставлены, вроде как над могилками понесших заслуженную кару, несмотря на их меры предосторожности. Меры-то смехотворные, надо сказать, и меры такие против организации эффективны, в которой всегда стукачок найдётся или агент внедрённый, а одиночку вы так не вычислите, со мною вам повозиться придётся, чтобы поймать, тем более, и оружие и взрывчатку я ещё в бандитские девяностые насобирал, когда везде склады воинские разворовывали, а я как раз из армии вернулся, из кавказской «горячей точки», где мы с чеченами мочили друг друга, «российские граждане», почём зря за нефть вашу сраную и миллиарды бюджетные, краденые, что вы в карман себе клали, а потому и концов вы теперь не отыщете с вашими экспертизами, и на меня, «временно не работающего», выйти не сможете. Разве что только на грабеже очередном ментам попадусь, но это вряд ли, я же лишь изредка уголовщиной промышляю, лишь в крайнем случае, мне для себя никаких излишков не надо, мне только бы дело своё обеспечить, «правое», между прочим, дело, и подручными средствами ещё от какой-нибудь твари бывшую русскую землю очистить, чтобы другим неповадно, чтобы вы знали, иуды, что не пройдут вам даром подлости ваши и что висит над вами меч мой карающий, всегда висит, в любую секунду и в любом месте…

Вы-то, понятно, о моём существовании и не подозреваете, вы с журналистами вашими продажными «происки конкурентов» в каждом теракте усматриваете, и я вас покуда разуверять не буду, я себе, чай, не враг, чтобы «оперов» ваших на свой след наводить, но списочек мой у меня непосредственное руководство к действию, и процветанье ваше я вам попорчу в меру сил, имейте в виду, мстить я не перестану, и не надейтесь, мстить до последнего моего вздоха за жизнь мою, вами, нажившимися, на той войне испоганенную вместе с молодостью моей, загубленной там, как и здоровье, ради счетов ваших инвалютных в банках за рубежами «великой» вашей, проданной вами, суками, на корню и продаваемой втихаря под призывы ваши официальные к «патриотизму» и «служению Родине»… Где она, Родина эта? Была да сплыла. Наша она была раньше, общая, а теперь она ваша вся, в частном вашем владении, – есть небольшая разница, как полагаете? И что же вы мне прикажете на такой Родине защищать? «Завоевания» ваши в денежном выражении? Или имущество ваше? Или «просторы необъятные», вам, ворюгам, отныне принадлежащие? Чего именно я патриотом быть должен, если вы всё тут захапали и ничего моего не оставили мне на Родине этой, улетучившейся неизвестно куда? Что, патриотом вашей собственности? Верным рабом, стало быть, и преданным вашим холопом – так, что ли?! А не пошли бы вы все куда подальше и с призывами вашими, и с Родиной вашей присвоенной, которой вы и меня лишили, и весь народ этот, вам послушный уже почти век, только что жульничающий исподтишка да водку жрущий до опупения, чтобы ему с рабством своим примиряться легче было, чтобы ему приспосабливаться ничто не мешало – ни честь, ни совесть… А сто миллионов за сорок лет потерять в молотилке той большевистской – это как? Это что ж от народа остаться могло, кроме тех, кто любой ценой выживает? Оподлил усатый бандюга народ мой, «опустил» он его с кодлой своей уголовной, и не способен больше подняться народ этот против несправедливости, не способен на унижение бунтом ответить и Родину собственную отстоять, а способен он нынче хамски у слабых последнее забирать, перед сильными выстилаться да на «авось» надеяться, к грабителям разным подельником примазываясь, в то время как у него его страну отбирают, за лоха его держа с выгодой его мелочной и корыстью завистливой… Зато я способен, чтобы вы знали, и меня вам обещанным «ростом благосостояния» не подчинить, потому что ни шансов у меня нет на «рост» особый, ни желания за достаток какой-то жалкий бороться всю жизнь и на вас, «хозяев жизни», горбатиться, зная, что это моё вы забрали, моим обогатились мошеннически и из моего себе новую Россию соорудили, чтобы меня же в ней и поработить в моём бесправии. Нет, господа-товарищи, вот хрен вам, а не «эксплуатацию трудящихся», не выйдет у вас на мне поживиться и нуждой меня в рамки ваши вогнать, я лучше с голоду сдохну, чем на вас работать пойду, и, уж поверьте, к несправедливости я приноравливаться не буду! Не дождётесь вы от меня покорности никогда, я вам не менеджер ваш, дензнаками за свою исполнительность упакованный, с жильём элитным, с ноутбуком и иномаркой, и, кроме жизни, мне терять нечего, а от жизни моей меня давно воротит…

Сейчас-то я умный, сейчас мне уже за тридцать, а тогда, после службы, я тоже, как все, на рекламные заманухи ваши купился, тоже разбогатеть пытался всеми путями и «семейный очаг» построить: то вкалывал, где придётся, как проклятый, то со всякими «крышами» бандитскими и ментовскими якшался на вещевом рынке, когда я с женой моей предприимчивой шмотки из-за кордона возил на продажу. Добывал, короче, как мог, наживал, накапливал, для того и в долги влезал иногда, но с отдачей, правда, без выбивания костоломного, как у других бывало, даже однажды в бандиты чуть не подался, да шестерить мне больно отвратно было перед спортсменами этими, пороха не нюхавшими, и так я порой еле сдерживался, чтоб сгоряча череп бритый такому «качку»-вымогателю не раскроить… Крутился, вон, изворачивался, пуп надрывал столько лет, а какой в суете этой смысл? Нет в ней смысла, ни малейшего нет, хотя и достиг я, вроде бы, некоторых успехов в приобретении барахла, как и многие, и всего-то от тех суматошных лет уцелело, что квартирка моя однокомнатная на окраине, которая после развода и раздела имущества мне досталась и в которую я свои боеприпасы из гаража переправил. А без смысла как жить? Без смысла я не умею, я не для жвачного прозябания в мир пришёл, без смысла мне только спиваться по-тихому остаётся, как большинство и поступает обычно, особенно же, когда здоровьишко подводить начинает и впереди уже полная безнадёга… Я, кстати, этого не избег, я в одиночестве поначалу тоже запил в унынии и тоске беспробудной, но ненадолго, однако, запил, не насовсем, не смог я таким банальным исходом удовлетвориться и в окончательную бессмысленность погрузиться бесцельно, подобно прочим, раздавленным и на себя рукой махнувшим; я как-то с похмелья задумался вдруг кое о чём, о причинах, к примеру, и о том, что у нас в стране вообще происходит. Я тогда, я скажу, до того задумался, что даже книжки опять читать начал, документальные преимущественно, об истории нашей когда-то «единой и неделимой», а теперь на удельные княжества растащенной, благо, чего-чего, а документов в те годы публиковалось великое множество, с задачей «советский период» разоблачить, как тяжкий и мрачный, но, слава Богу, преодолённый, и свой грабёж «либеральный» долгожданным «освобождением от тоталитаризма» выставить, – и постепенно пришёл я к выводу, что кинула нас родная советская власть, как дешёвых фраеров, и что непременно должна была кинуть, рано или поздно, при прежней её бесконтрольности и безответности поголовной граждан её, ни в чём ей ничуть не препятствующих, до каких бы злодейств и маразма она, родимая, ни доходила. И мало-помалу прояснилась в моём сознании вся логика перехода её, власти этой, в новое её состояние, а заодно – и вся хитроумная схема и краха её организованного, и чудесного неожиданного преображения её в вотчины князей её новоявленных и в капиталы немыслимые тех ушлых ребят у них на подхвате, что преображение данное проводили поэтапно и немалые дивиденды с него поимели за своё грамотное содействие. Понял я, отрезвев, что тем-то Великое Октябрьское присвоение империи Российской и завершилось – этим вот частным присвоением кусков её на распаде, умело устроенном, а главное, что иначе и быть не могло после, считай, столетия страха и всевластия подлости повсеместной, так что и жертвы, значит, напрасны были, по сути, все-все абсолютно напрасны, все-все – нелепы, и ни к чему они не вели, выходит, кроме возврата к тому, с чем боролись как будто столько десятилетий и за что миллионы в остервенении «идеологическом» перебили… И очень обидно мне стало от этого понимания, за всё обидно – и за страну мою несуразную, и за себя самого, страной с рожденья обманутого, и за убитых безвинно или погибших без пользы, только затем, чтобы наследники их ублюдочные дело жизни их предали, а «державу» их социалистическую, сообща построенную, разграбили-разбазарили, народ её облапошенный нищетой да корыстью окончательно в быдло превратив…

Тогда-то меня и осенило внезапно, в чём он, смысл, тогда-то вдруг озарение на меня и снизошло, в чём сегодня моя, так сказать, миссия состоит, в конкретную современную эпоху, и сразу же всё сошлось и значение обрело для миссии этой – и опыт мой на войне в батальоне связи, и знание всех ходов-выходов в той нашей российской действительности, где мне справедливость собой олицетворять предстояло и по совести всех подонков судить, независимо от их положения и чинов. «Возомнил», скажете, «много на себя взял»? Может, и много, не спорю, может, когда-то и где-то другой – высший – суд над каждым из них учинят силы небесные, я в воздаянье загробном не компетентен, да и не верю я в церковные сказки для взрослых, а вот здесь, в земном, то есть, мире, что-то не видел я им никакого суда, триумфаторам этим, «олигархам» нашим жирующим, вдруг сразу из ниоткуда возникшим, касте власти этой сложившейся, которая всё в России между собой делила-пилила, ни с чем не считаясь и ни о ком не думая, лишь бы себе миллиардов побольше настричь с обобранных «честных тружеников»; здесь, кроме меня, некому было за справедливость подняться и произволу грабительскому никто должным образом отвечать не собирался, ни «мирные обыватели», беспризорников и бомжей не замечавшие на каждом шагу, ни бандюганы, что обывателей криминально бомбили да частный бизнес к рукам прибирали, чтобы с легальными олигархами в доле быть, – все здесь, знай, языки чесали, как и сто лет назад, да кавказцев или мигрантов хаяли по наводке лубянской негласной, а их «фашистами» объявляли и козлами отпущения делали… Но меня «национализмом» русским никому было не одурачить, я-то, небось, не малолетка – в подворотнях махаться и в картотеке фээсбэшной засвечиваться, и я своего истинного врага без подсказок определил, распознал и назвал поименно, извлёк я, как вы от меня, школьника, требовали, «уроки» из истории нашей и, мало того, образец для подражания в ней нашёл, правда, не там, где вы мне указывали, а среди тех же «бомбистов», в частности, которым в разное время и царя самого взорвать удалось, и членов его семьи, и чиновников высокопоставленных из наиболее злостных. Они в своё время болтовнёй не ограничились, они уж по-настоящему откровенно высказались, как они к той государственной несправедливости относились, и если они сумели, то почему у меня бы не получилось, что меня останавливало, по большому счёту? Смерти я, как и они, не боялся, разве что на пожизненный срок угодить не хотелось бы, и без цели мне дальше жить было невмоготу, без пресловутой «великой» цели, само собой, ради которой бы и жить, в принципе, стоило, и жизнь отдать, в случае чего, а целей таких вы меня наяву лишили, когда мою же страну мне чужой сделали и частные интересы ворюг высокопоставленных защищать послали согласно военной присяге, между тем моя ненависть к вам кипела во мне нестерпимо и выражения она требовала, не словесного выражения и не декларативного, а действенного, такого, чтобы не отмахнулись вы от него пренебрежительно, как от всех вопияний беспомощных на демонстрациях и митингах или от обличений бессильных в газетах коммунистических, чтобы вы, сволочи, реально – на себе – ощутили, как она вас сжигает, ненависть эта… Должен же был, в конце концов, кто-то в стране отреагировать адекватно на беззаконие общепринятое и на беспредел узаконенный, и я для подобного реагирования как нельзя более подходил с ненавистью моей и решительностью, а что ещё важней, цель, моей ненавистью передо мной поставленная, подлинным смыслом жизнь мою наполняла и ценность ей, наконец, придавала в собственном моём восприятии её, так как теперь не впустую я проживал жизнь эту, не просто свои «потребности» обеспечивая, как остальные, а, вроде, судьба у меня какая-то намечалась, неординарная, с миссией, которую выполнять мне выпало, причём благородной миссией, при всём её ужасе и кровавости, хотя и не было мне теоретического оправдания ни в революции «социальной» надвигающейся, ни в мифическом братском «будущем человечества», у нас однажды уже состоявшемся и прошлым позорно закончившемся. Осознал я, короче, задачу свою, и почувствовал я себя впервые не пешкой заштатной и не отбросом ненужным, а кем-то и значимым, и значительным, призванным даже, пожалуй, в одиночку против целого мира встать и именно так в историю своего бездарного времени войти – как карающий меч справедливости…

Ну, дальше, как говорится, дело техники, детали специалисты и без моих объяснений личному составу преподают в диверсионных подразделениях, а вам, профанам, их знание не поможет, не спасёт оно вас, сколько бы вы методики соответствующие ни изучали – как, скажем, объект отслеживать, намеченный, или куда пластид закладывать и каким образом взрыватель на расстоянии запускать в нужный момент, да и отнюдь не в технической изобретательности тут суть, а в том, чтобы для окружающих незаметным повсюду быть, пустым местом, прохожим, к примеру, ничем не примечательным, или бомжом чумазым, что в мусорнике копается, – типажом этаким, в общем, невзрачным, с привычной внешностью и со стёртым лицом, который до того примелькался, что его как-то и описать затруднительно, не то что фоторобот составить, – и срабатывать твой сюрприз должен самым неожиданным способом: то из люка водопроводного возле машины припаркованной, то из урны какой неприметной по ходу следования в офис, то у бутика излюбленного из мопеда, только что угнанного и якобы на минутку его отлучившимся владельцем оставленного, а то и вовсе с ветвей на голову падать, чего уж вы меньше всего ожидаете, под деревом проходя. В мегаполисе современном возможностей всегда масса, была бы смекалка, и я, рано или поздно, ко всем объектам своим подход находил, по-разному индивидуальный подход, но равно результативный, а когда к одному чересчур осторожному с техникой не смог подобраться, я ему по-простому, по-солдатски, в окно коттеджа с дерева из гранатомёта шмальнул, учитывая, что дом его загородный новёхонький достаточно близко к остаткам леса стоял и весь периметр служба охраны под наблюдение ещё не взяла, так что пока они там пожар тушили, в посёлке своём элитном, я уже и до мотоцикла добежать успел через лес, и далеко оттуда просёлками отъехать, ищи теперь ветра в поле…

Первого, помню, которым я боевой счёт открыл, я вообще, почитай, мимоходом уделал, у клуба элитного, куда он, по своему обыкновению, на вечерок заезжал иногда, с себе подобными пообщаться подальше от посторонних глаз, иначе к этому щеголю было не подступиться, так уж его охрана тщательно опекала; причём и швейцар-громила там возле двери стоял, все подходы просматривая предельно бдительно своим равнодушным, но цепким взором и любопытных прохожих от входа тут же спроваживая с этакой недвусмысленно угрожающей вежливостью, но вот в одном они в этом клубе малость перестарались, клиентам своим максимальный комфорт обеспечивая: навес они сделали поперёк тротуара, чтобы их гость дорогой, едва из машины вылез, тотчас под крышей оказывался и по ковру к зеркальной двери с золотыми ручками мог проследовать, ни каплей дождя не замоченный, а навес, как понятно, двумя столбами железными у обочины поддерживался, между которыми каждый подъехавший проходил непременно, и я, поразмыслив, придумал, как это их упущение использовать. Прошествовал я себе как-то вместе с другими прохожими в сумраке моросящем мимо того многоопытного швейцара, по сотовому что-то кому-то рассказывая под капюшоном поднятым, и невзначай, незаметным таким касанием левой руки, прилепил на один из столбов сбоку штучку одну, заранее заготовленную, размером со спичечный коробок, издалека, фактически, и неразличимую, а когда, спустя минут десять, углядел я из-за угла, как моложавый мой «денежный мешок» из машины своей под навес вылезает под прикрытием телохранителя, который, дверь ему шустро открыв, проверяет привычно быстрыми взглядами, нет ли вокруг тут какой угрозы хозяину-барину, включил я со своего наблюдательного пункта штучку эту прилепленную – и взрывом моим направленным их обоих о «Бумер» его серебристый так и размазало, полюбоваться мне только некогда было на дальнейшую суматоху, я уже деловито к метро поспешал, обычный рядовой гражданин, с работы домой возвращающийся…

Да нет, поначалу всё было нормально и в правоте моей я сомнения не испытывал, наоборот, азарт я испытывал и кураж, и с большим удовлетворением я заслуженную стакашку потом выпивал за упокой души злодея очередного, когда в новостях о последствиях моих сюрпризов сообщали, с показом места удачного покушения и с комментариями наивными; не было, повторяю, сомнений ни в чём в тогдашнем моём ликовании злорадном, а уж об «угрызениях» так называемых и говорить не приходится, их и быть не могло, поскольку я сам эту самую совесть и представлял реально своими взрывами в разложении бездуховном и скотстве, как мне казалось, и именно по совести действовал в миссии этой карательной, отчего и уверенность во мне была, и бесстрашие победное, и даже, в известной мере, счастлив я был после первых успешных попыток, радостно было мне наблюдать страх ваш панический, когда разбегались вы кто куда, как тараканы, с визгом и воплями, кто уцелел, конечно…

Вера сперва была, вера, что справедливость отстаиваю, и до тех пор вера была, пока я ту ручку оторванную в бинокль не увидел у того ресторана, где они с матерью оказались как на грех… Причём на войне мне, вроде, и более страшные вещи видеть доводилось, особенно после бомбёжки, и тела детские, в том числе, или, вернее, то, что от них оставалось, от этих «потерь среди мирного населения», как обтекаемо в наших сводках о них выражались, но, во-первых, не я эти вещи творил, а во-вторых, потери такие нами тогда не только в расчёт не принимались в нашем ожесточении, но, скорей, злобу мстительную в нас вызывали – на врага, выпросившего всё это и получившего по полной программе. Чужие там дети были, на той войне, и злоба любую жалость в нас подавляла, иначе бы мы совсем спятили в подобном, как это в прессе вы называли, «наведении конституционного порядка», где враги по закону и не враги вовсе, а как бы «свои», а «свои» порой хуже врагов бывали, шкуры продажные… Ну, ладно, Бог с ней, с войной, не стоит её особенно вспоминать, всю гнусность её корыстную и бессмыслицу междоусобную, из-за которой столько ребят наших в гробах домой вернулись да инвалидами из госпиталя вышли, а «боевики» тамошние свои сражения в наши мирные города перенесли, чтобы и мы тут слезами умылись по своим близким, не они одни у себя дома. Я же сейчас совсем не о чьей-то грязной войне рассказываю, а о своей личной, о справедливой, как я всегда думал, виновников истинных к высшей мере приговаривая и приговор вынесенный в исполнение приводя; я записки мои потому-то и взялся писать, может быть, напоследок, что словно дошёл я на том теракте до некой критической точки – и вдруг перестали меня убеждать прежние мои доводы, вдруг исчезла она бесследно, прежняя одержимость моя лихорадочная целью моей великой и миссией, меня возвышавшей, вдруг отвращение у меня появилось к себе, как будто своим террором я сам себя невольно на одну доску с бандитами всякими поставил, что либо «разборки» киллерские такими взрывами устраивали, либо нарочно ими чужой народ в людных местах исподтишка в груду тел искалеченных превращали и подлостью собственной кровожадной похвалялись потом среди своих. Вспомнилось мне некстати, что террористы с бомбами невзначай другим террористам дорожку расчистили, уже в государственном масштабе, и что те же методы у нынешних «бизнесменов» в ходу в их делёжке кастовой, почему я под их «конкурентную борьбу» свои акции и маскировал…

Впрочем, неважно это – что я умом тогда понял и с чем сравнил невольно, несчастье то непредвиденное с совестью собственной примирить пытаясь, а важно действительно, что почувствовал я с тех пор в себе непонятную двойственность, как если бы долг мне велел одно, а душа моя долгу противилась инстинктивно, и словно заколебались во мне весы какие-то, где то ненависть перевешивала, то отвращение, как я решимость свою примерами и фактами вопиющими ни подстёгивал, и из недавней истории, и из самой что ни на есть животрепещущей современности. А оно раз на раз не приходится в таких делах, наперёд тут наверняка ничего предсказать невозможно, и, как нарочно, в двух моих следующих «акциях возмездия» опять ещё несколько человек пострадали, не из охраны и не из ближнего круга, так что весы мои просто катастрофически качнуло, я после неделю пил взаперти по-чёрному, чтобы душевное равновесие восстановить, относительное, и веру вернуть – в смысл содеянного. Я же, как вы, наверное, догадались, не садист уголовный в наколках и не фанатик исламский, я всё-таки бескорыстно собой рискую, без воздаяния гонорарного и без рая с гуриями, я за народ свой униженный и погубленный расплатиться хочу кое с кем, кого я ответственным за унижение это считаю и за катастрофу его почти вековую, пусть даже сам он своей катастрофы не сознаёт, а вы все её плодами пользуетесь в имениях и дворцах своих зарубежных да на курортах альпийских горнолыжных, где вы миллиарды свои выставляете друг перед другом, состояниями ворованными кичась, и пусть даже всё ваше общество меня в «экстремистах» числит, а все остальные сегодняшнюю несправедливость приняли целиком, как уже неизбежное и обязательное, как обстоятельства, «исторически сложившиеся». Я, начиная, вообще очень самоотверженно был настроен, как настоящий герой, который не побоялся, в отличие от толпы, и в одиночку против целой системы дерзнул, но только в реальности, тем не менее, как-то так выходило, что я вот, самоотверженный, был пока жив-здоров, как и прежде, а её ни за что ни про что на куски разорвало, малышку эту, ни в чём не повинную, и ручка её шевелящаяся иной раз весь героизм мой на моих весах перетягивала, и до того стыдно мне жить становилось всё чаще, что взрывы мои карающие уже и не актами справедливости мне казались, а едва ли не преступлениями обыкновенными, каких в наше время и без меня – хоть отбавляй, оттого-то я снова и снова зубы стискивал в ярости и всё более крупные объекты для мщения выбирал, чтобы они безоговорочно ненависти заслуживали и чтобы риск для меня был предельный. Наверное, смерти искать я начал, тут вы правы, однако же, объективно, собой непосредственно я по-прежнему не рисковал, потому как я не на баррикадах сражался, и выйди я к ним в открытую с пистолетиком, охрана меня, конечно, мигом бы положила и месть моя сорвалась бы, не состоявшись, а так, анонимно, казни мои показательные уж слишком на операции спецслужб смахивали, по ликвидации неугодных, и сходство такое стыд мой усугубляло, мучительным для меня это сходство было, как будто моя безымянность, которая безопасность мне обеспечивала, с палачами неуязвимыми меня уравнивала, что, как и я, в тени оставаться предпочитали и тайком убивать. Тошно мне, в общем, стало наедине с собою торжествовать, да и сошло на нет постепенно прежнее моё торжество, перестал я его испытывать при виде места взрыва, и сменилось оно странным и крайне, признаться, навязчивым желанием, неотступно меня преследовавшим и наяву и во сне: страшно мне захотелось не только чужую кровь пролить с помощью моих технических средств, но и свою тоже. Своя-то сразу бы показала, кто я на деле и чем я принципиально от ваших наёмников отличаюсь, которые ни о какой справедливости и не помышляют и ни к кому жалости не испытывают, и, в сущности говоря, погибнуть мне захотелось, но только на людях погибнуть, в открытом бою, чем я бы смог и грех с души снять, и заодно имя своё настоящим геройством прославить, а не подпольным, не для себя одного, ибо, понятно, совсем иное ко мне отношение у людей будет, со всеми моими случайными жертвами, если, в итоге, я самого себя в жертву возмездию своему принесу, и, кто знает, быть может, простятся мне все убийства мои неумышленные за то, что я под финал и своей незадачливой жизни не пощадил во имя справедливости…

Собственно, я поэтому и решил предварительно чистосердечное признание написать сейчас и, если что, с записной книжкой в кармане под пули пойти, то есть, в том случае, если я именно сегодня финальный итог подведу и из тени на свет, наконец-то, выйду, а я пока не уверен, я бы хотел свой последний выход максимально эффектным сделать, из чего следует, что должен я появления этого гада дождаться и дело своё задуманное завершить. Дверь выхода из его офиса у меня на мобильнике видна вполне отчётливо и с камерой снаружи мне в окно высовываться незачем, исключая, конечно, возможный расстрельный вариант с преднамеренным самоубийством, поскольку чердак мой расположен точно напротив выхода и дом, где я затаился, довольно старый, всего-то в три этажа, так что мишень я тут идеальная, только окошко открой, иначе бы этого красавца любой дурак отсюда снял, из винтовочки с оптическим прицелом… Нет, они профессионалы, охрана его, они таких доморощенных снайперов отслеживают наверняка, опытным глазом, и окно моё несомненно учли в своей схеме, как их в тех самых «органах» обучали, и они, разумеется, ничего не упустили, как им кажется, кроме вот разве одной-единственной траектории – сверху, а оттуда как раз смерть к их клиенту и прилетит нежданно-негаданно, как только он из дверей на улицу выйдет. Фокус-то, прямо скажем, элементарный: я здесь, на чердаке, нажимаю кнопку, а там, на той крыше, отпускается по наклонной плоскости мой гостинец, который падает на площадку перед выходом и делает большой «бум», и всё, что от меня требуется, – успеть мою бомбу сбросить раньше, чем он в свой лимузин сядет, который ему подают обычно к подъезду, но, думаю, несколько секунд у меня есть в запасе и я вполне уложусь…

Так, внимание, охранники появились, записываю по ходу действий… Вот уже «Бентли» его подъезжает; вот и его телохранитель нарисовался; а вот и он сам в дверях, улыбается, жизнелюб поганый… Пора, жму на кнопку… Ах ты!..

…Ну, вот и всё, конец… Внизу теперь ад, не разглядеть внизу ни черта в дыму и пыли, одни вопли истошные да сирены охранные на всех уцелевших машинах включились – оглохнуть можно, кабы уже не оглох после взрыва… Хорошо ещё от окна я сбоку сидел, а то бы всю морду осколками разворотило… Как же я не сообразил в последний момент, когда они из машины к нему вылезали, сын его, видимо, и жена… За ним следил, а их не заметил… И нажал… А она же не разбирает, бомба, она их всех – разом… Опять невинные, значит, опять ребёнок… И что, и какое мне оправдание? В чём, в каких таких аргументах? Не вижу, не нахожу… Как там у Пушкина, у нашего гуманиста великого? «Смерть детей с жестокой радостию вижу…»? Это он потому радуется, что не сам их убил, детей этих, что смерть их – вроде бы как по Божьему соизволению… А я вот сам, своими руками. Стечение обстоятельств, никто не спорит, оправдываться тут можно до бесконечности, но если он свою смерть заслужил, сполна заслужил, всеми его махинациями ещё на государственной службе, и за него я раскаиваться не буду, то их двоих я никак не предполагал, не должно их там было быть внизу, они ни при чём, и уж ребёнок особенно… Несправедливо это – детей убивать, явно это несправедливо, чем бы и как бы я в остальном правоту свою ни доказывал, и не по совести это, не по совести!..

По совести – искупить было бы, искупить прямо сейчас, встать перед всеми и искупить. Злодей же не встанет, верно же? Только герой способен, на подвиг – только герой… И тогда я уравновешу – когда себя самого на весы, как жертву… Или она и потом мне видеться будет, и в вечности, – с пальчиками её шевелящимися?.. Но разве же я нарочно? Разве не ради справедливости?.. Ладно, увидим, как говорится, воочию, секунды уже остались, если и вправду, если себя – на общее обозрение… А если нет, то кто я? Чем я тогда их лучше, тех, кого истреблял? Такая же подлая тварь, получается, точно такая же? И тоже, как все они, Антихристу я служил, да? Думал – со злом борюсь, а фактически?..

Нет уж, я встану. Я им в лицо свою правду швырну, ничего не утаивая. Я так сейчас выскажусь, что они до конца дней своих от страха трястись будут, зная, ради чего я погиб и почему. Встану открыто – и нате, берите с поличным, расследуйте преступления совершённые, вот вам и их виновник с собственноручным признанием в кармане! Сейчас последнюю точку поставлю да и пальну туда, вниз, чтобы, что называется, внимание привлечь к собственной персоне, а уж они меня тут же изрешетят, можно не сомневаться. Так что, надеюсь, я-то свою вину хоть чуть-чуть искуплю, я всё же по доброй воле…

Ну, стало быть, на том мы и порешим. За правое дело и умирать не страшно. За правое – Бог простит.

Но только, чтобы не в вечности, Господи…

Только не в вечности!..

\*

[**vasilypou@gmail.com**](mailto:vasilypou@gmail.com)

(Израиль)

Автор разрешает размещение и публикацию пьесы на сайте «БИБЛИОТЕКА ПЬЕС Александра Чупина».

\*\*\*